

ГРАНИ

GRANI

123

1982

Verlagsort: Frankfurt/M. Januar-März

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



«Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее; ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды».

Е. Романов. «Вместо программной статьи»,
«Грани» №1, июль, 1946.

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н.Б. Тарасова
Ответственный секретарь Д.А. Мусина

Адрес редакции журнала „Грани“:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheidweg 15,
D 6230 Frankfurt/M. 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXVI

№ 123

1982

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

И. М. фон ШВЕДЕР — Портрет Пушкина	I
Лия ВЛАДИМИРОВА — Письмо к себе	5
Ирина РАТУШИНСКАЯ — Стихи	159
Нина БОДРОВА — Стихи	163

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Татьяна ГОРИЧЕВА — Из писем к духовному брату	166
П. О. ЧАЕВ — Катакомбные монастыри	190

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Г. КРУГОВОЙ — Эмблематика чисел в „Мастере и Маргарите”	197
---	-----

ИСКУССТВО

Альберт ОПУЛЬСКИЙ — Л. Н. Толстой, фотография и кино	223
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ЮРЬЕВ — Китайский угол треугольника	250
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Николай АНДРЕЕВ — Фото-биография Марины Цветаевой	272
--	-----

Роман РЕДЛИХ — Памяти Н. Е. Андреева	277
Содержание журнала с № 119 по № 122	280

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Портрет Пушкина

Василий Андреевич Жуковский нарисовал карандашом этот портрет А. С. Пушкина, по всей видимости, летом 1831 года в Царском Селе, куда Пушкины в мае этого же года переехали после их свадьбы.

Жуковский в качестве близкого друга Пушкина часто посещал их семью.

Василий Андреевич женился поздно, в 1841 году, на дочери прусского офицера фон Рейтерн из Дюссельдорфа, поселился в Германии и умер 12 (24) апреля 1852 года в Баден-Бадене.

У Жуковского была только одна дочь, которая вышла замуж за графа Белевского. Дети ее получили разрешение прибавить к фамилии Белевских фамилию Жуковского, чтобы запечатлеть в своем роду память предка — великого русского писателя. Семья стала носить двойную фамилию — графы Белевские-Жуковские.

Этот карандашный портрет А. С. Пушкина хранился в их семье. По всей вероятности, он во время первой мировой войны находился в доме графа Белевского-Жуковского в Зеелах под Баден-Баденом и таким образом избежал участи всех других вещей семьи, связанных с памятью о Жуковском и оставшихся в России.

В эмиграции, в Берлине, этот портрет перешел к графине Нине Сергеевне Белевской-Жуковской, урожденной Боткиной. Отец ее — Сергей Дмитриевич Боткин — был дипломатом при Императорском Русском Посольстве в Берлине, и еще до 1914 года он и жена его стали членами Владимирского Братства. В годы эмиграции С. Д. Боткин вошел в состав правления Владимирского Братства.



Нина Сергеевна Белевская-Жуковская подарила портрет А. С. Пушкина Владимирскому Братству, с которым так тесно была связана деятельность ее отца в эмиграции.

В 1945 году этот портрет Пушкина был увезен из разрушенного Берлина (перед приходом Советской армии) долголетним секретарем правления Владимирского Братства — бароном Василием Львовичем Остен-Сакеном.

С тех пор и по сегодняшний день этот портрет Пушкина в старинной раме находится в доме Владимирского Братства.

И. М. фон Шведер

ОТ РЕДАКЦИИ

Впервые сообщил нам об этом портрете А. С. Пушкина В. Я. Горачек. За неделю до смерти он прислал письмо с фотографией портрета и предложил „Граням” заняться выяснением его истории. Горячее участие в проведении этого предложения в жизнь принял А. В. Русак. Вице-председательница Владимирского Братства И. М. фон Шведер написала историю портрета. Искренне благодарим всех за оказанную помощь.

Размеры оригинала портрета: 22,7 x 35 см.

В условиях эмиграции трудно установить точно, воспроизводился ли этот портрет в России. Пока наши поиски данных о нем в литературе оказались безрезультатными. Известен лишь карандашный набросок В. А. Жуковского „А. С. Пушкин в гробу”. И хотя мы публикуем этот портрет в качестве неизвестного, будем признательны всем, кто сможет сообщить сведения о нем.

Лия ВЛАДИМИРОВА

Письмо к себе

*О, укажи, всевидящий Господь,
Пути души от тьмы к преображенью!*

1

Сегодня я видела какие-то белые, белые сны. Сны, которые во что-то белое рядились.

...Сны во что-то белое рядятся,
Долго снятся по утру...

Проснулась я рано-рано. Солнечное тепло еще было легким, едва ощутимым, солнце еще не набралось дневной июльской ярости.

Сегодня я проснулась с чувством счастья, с ощущением счастья, с чувством, будто видела во сне Вас, с ощущением свежей молодой зимы.

Доброе утро!.. Здравствуйте!.. Доброе утро!..

Сейчас, в эту нестерпимую жару, мне часто вспоминается — как-то голодно вспоминается! — снег. Вот и посылаю Вам в стихах: снег, снег...

...Я холод глотаю. Я праздную вновь
Настой этот, наст недовзрослости
терпкой...

Я не успела послать этого письма. В то же утро, несколькими часами позже, получила — от Вас. Не письмо даже, целый пакет. Заказной почтой!

Я долго не решалась вскрыть пакет, — никогда Вы не писали мне таких больших писем. Вы вообще уже давно не писали мне... Наконец — вскрыла. Осторожно, ножницами, чтобы не повредить конверт.

Но перед тем как достать письмо, чтобы растянуть предвкушение, я положила его на стол и перечитала — Вам! — вслух свои вот эти „снежные” строчки.

Может быть, произойдет чудо, и Вы вот в этом Вашем толстом письме уже ответите на них?

И что же? В конверте — огромная статья, вернее, оттиск с нее, или, как здесь называется, ксерокопия, — статья, предназначенная Вами для одной из эмигрантских газет. И — ничего личного, ни строчки. Только сбоку, на маленьком листке, булавкой к рукописи приколото: „Дорогая Мара! Посылаю Вам оттиск своей последней статьи. Хотелось бы знать, как она придется Вам”. И даже — без подписи!

В статье я ничего не поняла. Ксерокопия была толстая и тусклая. Я медленно отложила глянцевитые листы. Потом опять потянулась к ним, будто в надежде отыскать что-то... Нет, ничего я не нашла в них — для себя, к себе обращенного!..

Не так играй, как хочется,
А хочется сыграть
Про то, как жить не хочется,
Как страшно умирать.

Тоска моя бессонная
Подстать такой тоске,
Где ночь совсем бездомная
И двери на замке.

3

Сказано: „Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться”...

А для кого это сказано? Это сказано для хороших, не для меня. Потому что я-то во всяком случае не хорошая. Это я не из кокетства говорю, а из полного понимания своей сущности. Нет во мне этого благородства и терпения — чтобы молиться (я и слов молитвы ни одной не знаю), чтобы признаваться в проступках с целью исцелиться...

А для чего мне, собственно, исцеляться? Чему это поможет? Может быть, Вы от этого ко мне относиться лучше станете? Или — Саша? Или — сама я к себе?

Нет, нет... Единственное желание мое — выплеснуть желчное раздражение, накопившееся во мне. Для того я Вам и пишу. Впрочем, я, может быть, себе самой пишу. Ведь для Вас-то, судя по всему, я вроде бы и не существую.

А раньше, когда состояние мое получше было, когда я на что-то надеялась еще — хотя бы на письма Ваши! — я и в самом деле пыталась признаваться... делиться... делиться с Вами: и чем-то важным, и мелочами. Но это все — в прошлом, в прошлом. Говорю вам: сейчас для меня главное — выплеснуть накопившуюся желчь. И чем садче я себя при этом растравлю, тем лучше, тем лучше. Так мне и надо. Не надо мне было уезжать отсюда, вот что я хочу сказать. Не с моими силенками

такой крутой перелом. Не для меня это, не по мне.

С тем же едким чувством, с каким сейчас пишу Вам, я сегодня перечитывала зимнее письмо матери. Ей-то хорошо. Она-то довольна. Самочувствие у нее, надо полагать, прекрасное, прекрасное. А что? Она имеет все, что ее душеньке угодно. При ней и дочь (моя сестра), и муж дочери, и две внучки. При ней ее драгоценная работа, — ведь она, как-никак, член ССП. И командировки, и квартира московская, и деревня под Москвой, куда можно на лето на дачу выехать. Видимо, такое благополучие (ведь она никогда не была „мученицей совести“, она от системы старалась не страдать) ей по-человечески противопоказано. От избытка благополучия черствеешь.

Вот что она мне — нам — пишет:

„Мои дорогие! Пишу в предновогоднюю ночь. Я осталась с Дашенькой, а дети уехали так же, как и в прошлом году, к друзьям, с лыжами”...

„Дети”! Это моя взрослая сестра с мужем — „дети”! А я кто, мы кто для нее? Ах, ведь правда, письмо начинается с обращения: „Мои дорогие”!

„Предновогодняя ночь”, „Дашенька” (это — младшая дочь сестры, родилась она после нашего отъезда, мы ее не видели ни разу), „друзья”, „лыжи”... И я все это вынуждена читать здесь, в Израиле, в жесточайшую жару. Для меня-то теперь ни „предновогодней”, ни новогодней ночи, ни друзей с лыжами уже не будет.

„У меня в большой комнате стоят две елочки, — продолжает мать, — Наташе и Даше. Даша свою украшала самостоятельно кусочками ваты. Игрушки далеко, жду приезда детей, мне за ними не дотянуть...”

Ах, какая умилительная картина!

У меня-то, как Вы понимаете, больше уже никогда не будет новогодней елки. А бывала — всю жизнь. Но в Израиле елки, очевидно, не растут. Правда, у моего сына Сережи стоит в комнате огромная синтетическая присланная нам из Москвы. Присланная, как говорится, с оказией. Кроме „елки”, прислали они нам еще набор советских пластинок, на которых вперемежку с маршами — что-то вроде „сормовских лирических”. Так что можно сидеть под „елкой” и слушать „музыку”. А „елка” стоит у Сережи круглый год. И в самую жару — тоже стоит (впрочем, тут круглый год жара). Он все ленится ее сложить. Так вот, я поддавалась сентиментальности и обвесила „елку” игрушками — у нас уцелели еще некоторые, не побились: из Москвы везли. С трудом я обвесила широченные, не колючие, не смолистые ветки. Правда, самому Сереже я ни разу не сказала, что его „елка” — страшилище, а с игрушками — и того пуще. Жаль парня. Зачем его тыкать во что-либо безобразное?

Да, так я возвращаюсь к письму матери. О старшей дочери сестры — тринадцатилетней Наташе — она с умилением пишет, что та — круглая отличница (единственная в классе), к тому же занимается музыкой, спортом, еще какие-то кружки посещает. Загорелая, энергичная, быстрая в математике и в беге. Что ж, тем лучше для нее, для матери моей. Ей ни разу и в голову не пришло, что бывает — в той же Москве — иначе.

Какой по счету адский круг?
В который раз встает из праха
Всеумирающий недуг
Благополучия и страха!

Это я еще там написала, там. В Москве. А если бы не писала этого и другого, подобного этому, так можно было бы и там жить. Беда в том, что мы с матерью одно и то же видели разными глазами. Будто бы рядом, не пересекаясь, не проникая друг в друга, существовали две действительности: одна для меня, другая для нее. Она вот тоже пишет стихи. Всегда писала, насколько я помню.

„Режу лыжами наст
Меж берез и осин.
Если ты пришел в лес,
Ты уже не один”.

Бесподобно. Не правда ли? Бесподобно! Не имеющее предела благодущие... Вы не обращали внимания на то, что часто именно благодущные (с виду) люди черствы?

А вот что касается лыж, и снежного наста, и берез, и осин — так все это когда-то было и у меня, в какой-то прошлой жизни:

„И на белых парадных снегах
Лыжный след, словно память о том,
Что в каких-то далеких веках
Здесь с тобою прошли мы вдвоем”.

Я этих строк Ахматовой не вспоминала с Москвы. А вот сегодня, сейчас — вспомнила. Может быть, потому вспомнила, что, кроме стишков, бывают на свете еще и стихи. И иногда они убивают. Зато стишки безопасны вполне, вполне и всегда безопасны. Я не претендую на то, что сама я пишу стихи, а не стишки, я вообще ни на что не претендую. Более того: если среди груды мусора, перечеркнутых черновиков — встречаются у меня на-

А моя мать? Маша ли, Мара ли — это, я думаю, для нее не так уж существенно. Возможно, к М а р е у нее даже некоторая зависть есть: как-никак несколько сот стихотворений, опубликованных после отъезда. Недаром в одном из своих писем мать пишет: „Мы удивляемся плодовитости нашей поэтессы”, — ведь она в курсе, в курсе: Саша постоянно сообщает ей о моих „успехах”.

Так что я и для матери, Ирины Петровны Введенской, и для сестры, Нины Николаевны Покровкиной, — даже если и пишут они мне в письмах „Маша”, — именно *Мара Никольская*, а чаще (для конспирации, что ли?) — просто М. Н.

„Машенька, Машенька, многострадалица доченька”, — так писал мне из экспедиции отец девятнадцать лет назад, когда родился сын Сережа и я вышла на двадцатый день из роддома, осажденного тараканами и муравьями, переполненного спертым, застоявшимся запахом крови и слез (женских, не отомщенных слез), и оказалась с Сашей... если бы с ним одним! — нет, еще и со свекровью, которая специально переехала к нам, чтобы не спеша наглядеться на Сашиного сына, говорить о нем с Сашей, не замечая меня, как умеют это делать женщины — ревнивые и озлобленные.

И потом, потом: „Ну, ты доволен, что твоя родственница приехала?” — спрашивала она трехлетнего Сережу, показывая на меня, когда я возвращалась домой после работы.

Впрочем, Вас все это едва ли интересует. А для меня навсегда, наверное, останутся загадкой неудержимые проявления бабской злобы или, если угодно, женской безжалостности.

А моя мать? С раннего детства, и до замужества, и до самого отъезда нашего она не уставала язвить меня: „руки-крюки”, — потому что у меня в

стоящие строчки, тем хуже. Они тревожат. Они причиняли и причиняют нестерпимую боль.

„И на белых парадных снегах...”

А Вы? Вспоминаете ли Вы эти строки?

4

Как Вы относитесь к тому, что я — и Маша Покровкина, я — и Мара Никольская? Что я взяла *з д е с ь* такой вот литературный псевдоним? Всем я пожертвовала, все оставила им: даже имя и фамилию. Нет больше Покровкиной! Нет и как будто и не было никогда. А как же могло быть иначе? Ведь *з д е с ь* я тамошние свои подпольные стихи печатаю. Как же мать и сестру не обезопасить? Ведь сестра, выйдя замуж, себе девичью фамилию оставила, фамилию моего папы, — так что она-то Покровкина.

А мне, выходит, нельзя было Покровкиной оставаться: как бы из-за моих стихов у нее *там* чего не вышло. И вот потому вопрос о замене Покровкиной на Никольскую был мной и Сашей решен еще до отъезда. То есть так решил Саша, а я согласилась — как привыкла соглашаться с ним всегда и во всем.

Выходит, что он, Саша, беспокоился больше о моей сестре, чем обо мне. Из-за каких-то сомнительных страхов за сестру (карьере ее наша общая фамилия помешает, что ли?) меня можно было всего лишиться, даже имени, отчества и фамилии.

И все-таки... Какая я *Никольская*? Да и кто она такая, эта *Никольская*? Говорить я могу только о себе: о Маше.

Как-никак Машей звал меня отец. Это имя было мне дано при рождении. Будь папа жив, что для него была бы *М а р а*? Пустой звук.

самом деле неловкие руки. И никогда она при этом не забывала добавить: „Я все всегда умела. А стихи писала не хуже тебя”.

5

Возможно, будь у меня сейчас полегче на душе, или — будь я добрее, будь я немного великодушнее, я бы, вместо того чтобы упрекать свою мать, просто-напросто сказала бы Вам: „А мы с матерью никогда друг друга и не знали”.

Незнание — многое оправдывает, незнание снимает с души множество тягот.

Вот, может быть, и Вы не знаете меня, а я — Вас? И именно в этом, может быть, причина всех недоразумений. Оттого Вы и не пишете мне: зачем человеку, которого не знаешь, регулярно писать, зачем с незнакомым человеком, то есть с его неведомым Вам душевным состоянием, — считаться?

Никогда я не забуду той минуты, когда я, случайно обмолвившись, написала Вам „ты” (а может быть, в тот миг и не случайно!). А Вы сделали вид, что не заметили, — никогда, ни разу не вышли Вы за рамки холодной учтивости. Тогда... тогда почему же Вы некоторое время назад все-таки писали мне? Почему просили в письмах, чтобы и я Вам писала? Почему?

Если бы у меня не было еще отнято мое имя, если бы Вы так непреклонно не называли меня в письмах „Марой”, я, Маша Покровкина, сказала бы Вам то, что не раз порывалась сказать: какие-то робкие предчувствия в с т р е ч и с Вами, предвосхищение какое-то, редко-редко... возможно, это бывало.

Возможно, это у меня и с матерью бывало (ког-

да-то, в раннем детстве) ... окликом, отзвуком каким-то, щемящим, дальним. Будто бы — так: серые просторы, дождь, и вдруг откуда-то издали-издали: — „Ма-аша!“ И: „Ма-ама!“ А ветер относит звук, и не поймешь даже, чей там голос: мой? Или — матери? Маша ли, мама?

А может быть, это был Ваш голос?.. Иногда мне кажется, что мы связаны духовно издавна, что эта связующая нить тянется из далекого прошлого. Как много чего-то запретно-близкого видела я в Вас, а заодно, мысленно будучи с Вами, и в себе самой, в Маше!

С этим — покончено. Конечно, не начавшись. Вы больше не пишете мне, и мне трудно даже выразить, до какой степени, в сущности, Вы правы. Я не в том состоянии, да и не тот я человек, которому стоит частые письма писать. Когда нервы натянуты, а мозг занят мучительным самокопанием, любая, даже самая искренняя интонация (если бы Вы с ней даже и обратились ко мне) все равно — для меня! — отзывалась бы фальшью. Вы ведь все равно продолжали бы писать: „Дорогая *Мара!*“ А *Мара* уже потянула бы за собой (и тянула!) фальшь.

6

Интересно, однако: что, если бы мы с Вами встретились еще т а м, в Москве? И если бы Вы, подобно моей матери, ни за что не хотели о т т у д а уезжать? Смогла бы я тогда — ведь, по-видимому, навсегда — расстаться с Вами?

Не обольщайтесь: смогла бы. Впрочем, Вы и не „обольщаетесь“, — ведь Вам нет до меня никакого дела.

И вообще я хотела говорить сейчас не о Вас, а

о своей матери. Что, если бы она, моя мать, любила меня так же, как мою сестру Нину (она ее „Нинуленькой” зовёт!), или даже больше? Что, если бы она любила моего сына Сережу не меньше, чем своих внучек Наташу и Дашу? Что, если бы я с ней, с моей матерью, могла говорить даже и о Вас?..

Да... Еще и Даша. Это сестра нарочно, нарочно еще одного ребенка завела, чтобы мать крепче к себе, к Москве привязать. Стоило ли стараться? Моя мать все равно с Ниной бы не рассталась, так что сестра, заводя второго ребенка, „подстраховывалась” без всяких оснований.

Еще бы! Да к тому же там у матери, кроме „детей” и внучек, есть Москва, есть членский билет ССП, есть поликлиника ССП, ателье ССП, книжный магазин ССП, а еще — есть деревня Опенково.

Ну, и у Вас, будь Вы там, было бы какое-нибудь Редькино или Кошкино, — ведь по складу характера Вы барин (правда, в наши дни баре — избой в нищей деревне довольствуются, избушкой на курьих ножках, купленной у какой-нибудь престарелой сельской учительницы за недорого). Вот бы Вы там и хозяйствовали, разводили бы в своем палисаднике флоксы. Возможно, будь у Вас палисадник с флоксами, да еще и со смородиновым кустом, Вы бы этим не пожертвовали. Нет, не только для меня, но и ради какого-нибудь действительно дорогого человека. Вы бы сказали: „Что же я стану делать без русских цветов, без русской природы?”

И тот факт, что Вы оказались за границей, никакого отношения к Вашим душевным привязанностям не имеет. За границей Вы оказались вынужденно. И хорошо еще, что не корысти ради, а

ради убеждений, которыми Вы тогда, в письмах, так гордились. Отчего же теперь, получив полную свободу, внешнюю свободу, к которой Вы так стремились, так вяло продолжаете Вы борьбу? Устали?

Однако бросить мне язвительную фразу: „Куда Вы деваете свой темперамент? Он же гниет в Вас”, — на это, я думаю, Вас бы хватило. Ведь сделал же так один мой московский знакомый. Я так и представляю себе усмешку на Ваших губах и эти не сказанные Вами слова, которые Вы вполне могли сказать мне.

На губах твоих — смешок,
А в глазах твоих — тоска.

Можно подумать, что Вы, устав бороться с системой, на какое-то время (пока и это не надоело) занялись борьбой со мной. Очень достойное употребление сил и энергии, ничего не скажешь. И рыцарское к тому же.

Правда, и я какое-то время отвечала Вам тем же:

Идешь ко мне, хоть мы враги,
Идешь бессмысленно и гулко,
Идешь, и слышат переулки
Твои шаги...

Надо полагать, что в стихах за мной остается право обращаться к Вам на ты? К тому же никто не обязан знать (и Вы тоже), что посвящены они Вам. Да и не Вам они вовсе посвящены, а просто так написаны, просто так. И я могу это доказать, могу. Потому что... слушайте дальше:

Идешь ко мне, и мне назло
То яростней шагаи, то тише,
А снег колотится о крышу
И о стекло...

Снег? Какой же в Израиле снег?

Идешь ко мне, идешь ко мне,
А все темней, и валит вьюга,
Как будто ищем мы друг друга
В сплошной стене.

Вьюга? Какая же в Израиле вьюга? Впрочем, метет иногда по земле песчаная поземка... И хамсины есть, которые Вы, кажется, недолюбливаете.

А вот я... я и хамсины переносу. И вообще... ни одна моя строчка не посвящена Вам.

Идешь ко мне, хоть мы враги... — это надо было бы моей матери посвятить. Потому что она, топчась на месте, все-таки по-своему пытается „идти ко мне”, к нам. Почему она не оставляет меня в покое? Чего она хочет от меня? Для чего тянется эта унылая, эта безликая переписка?

„Режу лыжами наст
Меж берез и осин”...

На здоровье!

И до этих ее стихов я знала: не согласилась бы она никогда — без Москвы, без привычной природы (каково без привычной природы ей, географу, детской писательнице, члену ССП) и — без России. Ну да, ну да. Это уж само собой разумеется. Ведь в ее представлении там и сейчас Россия.

Может быть, Вы, с Вашим красноречием, могли бы объяснить ей, что такая Россия — не Россия. Но

Вы бы никогда не осмелились сказать ей: „Куда Вы, Ирина Петровна, деваете свой темперамент? Он ведь гниет в Вас”. Нет, Вы свои „выразительные” реплики, я думаю, приберегаете для других, более беззащитных.

Для чего я Вам это говорю? Да всего лишь по двум причинам: во-первых, мне жаль, что я бы не сумела на Ваш выпад (сделай Вы его) достойно ответить, а во-вторых, потому, что мне тяжело со всеми этими мыслями наедине с собой быть (лист бумаги и ручка создают иллюзию неодинокства, или, во всяком случае, полуодинокства), а мучить всеми этими мыслями Сашу мне тяжело.

Вот и сейчас... Он хоть отдохнет немного от меня. Он поехал на съемки фильма, вернется вечером. А Сережа, сын, поехал к Сашиной матери, к моей свекрови, к своей бабушке. Так что я дома одна и могу говорить... не с Вами, нет, а просто с листом бумаги, просто — вслух говорить. Но — не для Вас и не о Вас эти мысли, — Вы-то, должно быть, уверены, что они о Вас! — нет... Мысли эти — о моей матери, о моей сестре. И все равно от этих мыслей больно мне, больно.

Хоть бы что-нибудь вмешалось и отвлекло. Но нет, ничто не отвлекает, ничто. Ни звонка в дверь, ни звонка по телефону, за все эти утренние часы — ни разу...

Часы стучат, часы идут,
Уходят прочь минуты...

Что за строчки пришли мне в голову? И уже — не в первый раз. Потому что, когда я дома одна, слишком громко стучат часы.

Часы стучат, часы идут...

Зреет какой-то напев, но еще не воплощается в строчки.

Почта сегодня запаздывает что-то. Иногда — и это как подарок бывает — вдруг почта ранняя, утренняя. А сегодня, возможно, — ведь так чаще бывает — почта будет только к обеду, а то и позже.

А впрочем... От кого мне писем ждать? Вроде бы и не от кого, но я вот устала, просто устала день за днем подходить к пустому почтовому ящику.

7

Вчера я увидела Вас, Вас! — во сне. Что же это такое? Для чего мне такие сны снятся? Ваше лицо, Ваш голос... Но было это — весь мой сон — не з д е с ь, не по эту сторону... Мы с Вами вдвоем шли к бывшему моему дому, Вы то хмурились, то улыбались.

На губах твоих — смешок,
А в глазах твоих — тоска...

Возле подъезда мы с Вами остановились, потом пошли назад, удаляясь от моего дома, потом я остановилась в нерешительности — поднять ли для прощания руку, а Вы продолжали удаляться. А потом я опять сделала несколько шагов, еще несколько шагов, еще... Завернула за угол — и столкнулась с Вами. Шел снег.

Не могу отделаться от мысли, что встречала Вас в Москве, что мы с Вами знали друг друга:

Переулок. Тихо. Поздно.
Осторожный час.
Чей-то шаг скрипит морозно,
Подгоняя нас.

Кто-то взглядывает грозно
И спешит вослед...
А на сердце звонко, звездно,
Как в шестнадцать лет.

Может быть, потому и были мною там, в Москве, написаны эти строки, что и Вы были в то время там и, возможно, ходили по тем же улицам. Возможно, я не раз встречала Вас — в толпе, в безлюдных переулках, в метро, в скверах, — летом, зимой...

Невозможно не представить себе, что я не ходила с Вами по нашей занесенной снегом Верхней улочке. И разве не Вас... не тебя встретила я —

Там, у низкого моста,
У Замоскворечья?

Откуда же тогда такие строчки? Погодите, сейчас...

Там, у низкого моста,
У Замоскворечья,
Была улица пуста,
Только ты навстречу.

Не с добра и неспроста
Была улица пуста,
И мело весь вечер,
Мглистый, зимний вечер.

Исколол меня февраль,
Исколола встреча, —
Там, у низкого моста,
У Замоскворечья.

А это... а это... Разве это не предчувствие, не предвосхищение встречи с Вами, с тобой?..

Весна из снега и из света,
То бегство в тень, то поворот...

Там, в Москве, я предвосхитила то, что переживу
здесь:

Извечная весны примета,
Снеговорот, световорот...

Вы скажете, что у меня (ведь я в Израиле живу) не может быть марта? Нет... У меня — был:

Ручьев стесненное биенье,
Глубь неба, влажная, как глаз,
Живой и хрупкой светотени
Как бы намек, как бы отказ...

Значит, все в прошлом? Значит, даже еще и не начавшись, все в прошлом?.. Ведь нет письма от Вас, так давно нет!

Значит —

Пустые ль окна отворить,
В пустое небо ли глядеть,
Мне некого боготворить
И не для кого молодеть...

Сказала это сейчас — и тоскливый холодок по спине прошел. Как я могу, как смею так?.. Это я наговариваю на себя. У меня — Саша есть. Я — Сашу люблю. Я без Сашиного отношения ко мне не представляю себе жизни.

А за окном темным-темно,
Идут снега, метут ветра.
О, как темно и как давно
Метут с утра и до утра!

Нет, нет, нет. Эти стихи лгут. Саша, я люблю тебя! Саша, я жить не могу без тебя! Сашенька, Саша, Саша!

8

Я вот думаю: будь у моей матери сын, она любила бы его не меньше, чем Софья Марковна, моя свекровь, любит Сашу. Может быть, он, сын, — а никак не дочь, которая для иных матерей даже и соперница в чем-то, — и чем независимее личность и той, и другой, тем больше соперница! — именно сын мог бы смягчить ее, внести в ее чувство женскую, тихую и стойкую жертвенность. Сына — она бы жалела, сыном — она бы гордилась! А тут:

„Режу лыжами наст
Меж берез и осин...”

И в этом — общение? И это — то, чего ждет мое одиночество? И это — через восемь лет разлуки?..

Согласитесь: ведь можно, можно устать от засилья женского начала в семье, можно — сына хотеть! К тому же вот... и бабушка моя, ее мать... Разве не подавляла она маму и нас, двух маминых дочерей, своей страстной, своей властной, своей непререкаемой, своей сметающей все иные привязанности — любовью? В особенности так она любила не нас, двух внучек, а свою единственную дочь, мою мать. И мама... мама тоже любила ее... любила как-то робко-послушно (что чудно и чудно при ма-

мином независимом и жестком характере), любила как-то втайне зависимо (бабушка — яркая, очень яркая личность), любила истинно и самозабвенно. (Не такой ли любовью любила и я Сашу, любила всю жизнь, еще когда девчонкой была, еще в восемнадцать лет?..).

А может быть, это судьба? Вот такой же любовью — как я Сашу! — (любовью-подавленностью) мать любила бабушку, вздрагивала, когда та повышала голос, моментально стушевывалась, когда та выражала свои, иные, противоречившие маминим, взгляды. Поддельвалась под ее настроение. Боялась раздражить, — и все равно раздражала... У бабушки был вспыльчивый, очень вспыльчивый характер.

Саша все это знает. А Вы?.. Хотите ли Вы знать что-нибудь обо мне, о моих близких? Впрочем, если я для Вас ничто, то уж до моих близких Вам, вполне естественно, вообще никакого дела нет.

А я ведь только хотела сказать: вот ведь как бывает... Вот какая выпала на бабушкину долю великая любовь к дочери своей, а на мамину — к матери своей. Может быть, с маминой стороны и рабская любовь (слишком, чересчур уж зависимая), но страстная, но всепоглощающая. И может быть, втайне — самое ее тяготящая...

Просто и не представляю, как мама — теперь... ведь бабушки не стало, — мне самой трудно поверить в это! — не стало, спустя несколько лет после нашего отъезда...

И еще... Была это какая-то... взаимно-эгоистическая любовь. Любовь — не принимающая, не вбирающая в себя — от щедрости своей — других людей, не открывающаяся им навстречу, а любовь как бы замыкающая и бабушку, и мать — в чувство друг к другу. А все остальное — все остальные —

были как бы за пределами этого раскаленного кольца, этого замкнутого круга.

Там, у низкого моста,
У Замоскворечья...

Любовь — власть. Это — у бабушки моей. Чтобы — завладеть моей матерью полностью, чтобы ни с кем ее не делить: ни с зятем, ни с внуками, ни с друзьями.

Вот я Вам говорю об этом, пишу (а впрочем, не Вам, не Вам... Самой себе пишу я это письмо...) — и тут же думаю: а разве оттого, что моя бабушка была такой властной, меньше было всё мое — к бабушке? Разве меньшим я обязана ей? Я, оставшаяся с младенчества и до взрослых лет на ее руках (и в мои студенческие годы она готовила мне завтрак, заплетала косу), — на ее руках, ведь мать и отец бывали по полгода в экспедициях... Помню, как бабушка — мне было десять лет тогда, я болела тяжело, лежала в больнице, — любя меня как дочь страстно любимой с о е й дочери, приезжала каждый день ко мне в больницу, и в две недели, что я пролежала там, она, тогда еще нестарая женщина, поседела. Отвозила меня в больницу — с проседью была, забирала из больницы — была ослепительно белой ее гордая, ее никогда, ни перед кем не склонявшаяся голова.

Исколол меня февраль,
Исколола встреча...

Бабушку мою любили многие, любили безраздельно. Но — не кол о л и (осмелились бы они!), кол о л а — она.

А мой отец?.. Вы поймите меня, поймите: не мне,

не мне, обожавшей бабушку, не мне, воевавшей с бабушкой, не мне — то робкой, то дерзкой с нею — обо всем этом говорить. А ведь — болит, болит... Бабушка и отец, отец — и бабушка... Обоих уже нет, оба уже ушли из этой жизни, — папа совсем безвременно ушел...

А впрочем... Разве их нет? Ведь оба они — во мне: папа и бабушка, бабушка и папа... На две любви, с самого младенчества, надо было мне себя разрывать, раздирать, потому что — эти два родных моих, кровно родных человека, были — несовместимы, полностью, трагически несовместимы.

И — с самого моего рождения (и до моего рождения — тоже), и до замужества, и после замужества, и после рождения нашего с Сашей сына, — папа и бабушка, бабушка и папа — жили... находились... пребывали... сосуществовали... уж и не знаю, как выразиться, — в одной комнате, в *одной комнате!* — (ее потом перегородили, правда) ... да, да, в одной, общей комнате большой коммунальной квартиры. Не знаю, часто ли бывает именно такая... трагическая несовместимость?

А мама... Мамин выбор был сделан... еще до моего рождения был сделан. Мать, ее мать, моя бабушка, такая красивая в молодости, сохранившая красоту и в старости, мать, с горделивым профилем, с низким глубоким тембром голоса, с соболиными бровями, с черными не глазами, нет — *очами*, „с походкой, со взглядом цариц”, — была для моей мамы всем ее светом в окошке.

А и звон церковей — не под Новый год,
А и стон во мне — не на весь народ.
Не на весь народ, по тебе, мой свет,
По тебе, мой свет, что в окошке нет...

А что, если другого такого же света, такого же всевытесняющего, такого же всепобеждающего, такого — мир заполнившего света — больше вообще не было в маминной жизни? Что, если все, все силы души, и любви, и преданности, и самопожертвования были вложены в одно-единственное могучее чувство — к ее матери, к ней, к бабушке моей?..

Если бы у меня с моей матерью за целую жизнь хоть раз произошла в с т р е ч а, если бы она обратилась ко мне, а я — к ней не спиной, а лицом, я сказала бы ей... я бы написала ей, я бы о т с ю д а написала ей, вместо формальных приписок ни о чем к регулярным Сашиним письмам:

„Мама!.. Нет, я не вторгаюсь в душу твою. Я ведь не знаю тебя. Я просто чувствую, что грозный отблеск этой любви — твоей к бабушке и бабушки к тебе — лег и на мою жизнь, и измучил, и мучает, и язвит. И живит...

Мама!.. — продолжала бы я в таком возможном, таком н е в о з м о ж н о м письме: — Прости, что, раздираемая любовью к бабушке и к отцу, я о т е б е забывала! А что, если тебе в жизни, в судьбе тоже не хватало чего-то главного?.. Что, если и у тебя недостаточность была непоправимая?..

... А и стон во мне не на весь народ,
Не на весь народ, по тебе, мой свет,
По тебе, мой свет, что в окошке нет...

Прости, что в глубине души винила (и виною) тебя за недостаток любви к моему папе, ко мне, прости, что ревновала тебя и бабушку и корила вас обеих за переизбыток любви друг к другу. Как будто в любви возможен п е р е и з б ы т о к!”

И едва я написала эту строку, в дверь позвонили. Миг — и я на ногах. В дверях — старуха. Соседка. Девяностолетняя старуха с лицом, похожим на увядшую дыню. Она протягивает мне что-то... протягивает открытку...

— По ошибке попала в наш почтовый ящик, — говорит она мне, и все не уходит, не уходит... Какие, однако, у сморщенной дыни бывают любопытные глаза!

Я благодарю ее. Закрываю дверь. И, не глядя на адрес отправителя, вижу: открытка — от Вас. Возможно ли это? Да что же это такое? И это — теперь, когда я отказалась... когда я почти смирилась... Да когда же прекратится это мучение?

Я перечитываю открытку раз, другой, опять начинаю сначала.

Ничего в ней особенного, в открытке. Вы сообщаете мне, что по причине невероятной загруженности запустили переписку. И почерк у Вас торопливый. Но — обращение, обращение! Над несколькими строчками открытки стоит: „Дорогая Маша“! Не Мара, нет, — я перечитала это короткое слово много-много раз, впиваясь в каждую букву, — я не могла ошибиться!

Значит, открытка Ваша — не Маре Никольской, а мне, мне, Маше Покровкиной. „Дорогая Маша“! Буквы разборчивые, почерк у Вас всегда разборчивый, четкий, хоть и торопливый. „Маша“! Что бы это значило? „Маша“!..

Я стою у стола, держу открытку в руках. Потом сажусь за стол, не выпуская ее из рук. Потом начинаю кружить по комнате. Потом ставлю открытку прямо перед собой, на полочку с книгами, вися-

щую над письменным столом. Потом опять беру ее в руки...

„Дорогая Маша”! — бормочу я и чувствую, что на моих губах появляется глупая блаженная улыбка. Слава Богу, что никто не видит меня сейчас. „Маша”!.. Так значит, значит, я для Вас не Мара Никольская, а Маша?..

Прямо не знаю, не могу объяснить ни Вам, ни себе, что это сейчас со мной?.. Что-то светится, что-то бьется...

„Маша”!.. Так, кроме Саши, называли меня и мать, и отец, и бабушка. И вот сейчас, сейчас... несмотря на то, что я навсегда лишилась их всех — и матери, и отца, и бабушки, — опять что-то светится во мне, что-то бьется!.. И так странно мне это... Правда, правда, я не могу понять, что со мной... „Маша”... Значит, Вы не забыли, что я и в самом деле Маша... А то ведь за эти годы... Что же это со мной?..

Подумайте: спустя восемь лет после прощания с матерью в аэропорту Шереметьево (ее голос: „До свидания, Маша!”) — вдруг сквозь морозный наст, из-под скованной земли, из-под снега пробился этот ропщущий ручей и так немолчно заговорил.

И Вы знаете, мне как-то странно, и радостно, и страшно вслушиваться в говор этого нежданного ручья, этой с е б я, о которой я не то чтобы позабыла, но о которой мне так редко напоминали: ведь я для окружающих, почти для всех — Мара Никольская. А для соседей — просто безымянное лицо: ни разу за все эти годы не назвали они меня по имени.

Я слушаю Ваш голос: „Дорогая Маша!..” Маша... Маша...

Я плачу. Я не стыжусь своих слез. Я ведь сейчас дома совсем одна.

„Маша”!.. Так звал меня мой отец. Мой отец — любимый, всей моей детской жадной любви, любовного внимания и понимания, со всем эгоизмом детства — любимый!

Отец — одинокий, чересчур, чересчур сдержанный внешне, чересчур ранимый, чересчур безропотный, неприспособленный, одержимый своей геологией и чувством ко мне, своему первому ребенку, чувством, как правило, скрытым под ровностью и справедливостью: ведь он и Нине, сестре моей, отдавал должную долю любви... мой отец!..

Я думаю о нем, я говорю Вам о нем, а сама все читаю и перечитываю Вашу открытку: „Дорогая Маша!” Что именно думали, что чувствовали Вы, когда Ваша рука, вместо привычного „Мара”, написала: „Маша”?:

— Маша... — говорил мне мой отец. Но ведь и моя мать тоже называла меня Машей...

Что и когда знала я об их с мамой *сокровенном*, что может предложить мне моя пристрастная память? Словечко „упрямый”, раздражительно срывавшееся у мамы, — что это, как не изнанка памяти, как не память навыворот — такое представление об их отношениях?

„Упрямый”, — годами растравливала я себя. „Да, да, конечно, — говорила я себе самой саркастически, едко, с запалом, будто бы — маме, маме в лицо: — Он ведь и из жизни ушел — „упрямо”, не думая о болезни, с железнодорожным билетом в кармане, собираясь в очередную геологическую экспедицию...”

Ваша открытка... „Дорогая Маша”... Ах, что делает со мной эта одна-единственная буква! Не „Мара”, — говорите Вы, а „Маша”...

„Маша”... Так звала меня моя мать. Так звала меня моя бабушка. Так называл меня мой дедуш-

ка, которого я лишилась будучи двух месяцев отроду и которому, как рассказывали мне, первому я улыбнулась. Он успел увидеть эту мою первую улыбку, и он говорил мне: „Маша”...

Как странно: и мать, и отец, не сговариваясь, называли меня одним и тем же именем, любимым ими. Много было такого, что о б а они любили. А между тем...

Но скажите: нам ли знать — в с е — о чувствах наших родителей друг к другу, об их взаимоотношениях, начавшихся задолго до нашего появления на свет?..

„Дорогая Маша”, — пишете мне Вы. Саша, возможно, даже не заметит, что Вы написали не Мара, как обычно, а Маша, — чего не было никогда, — а если заметит, то подумает, что это описка.

А вдруг и в самом деле это описка? Нет, нет, не может быть. Мое имя Вы написали так отчетливо, такими разборчивыми, красивыми буквами. Да, красивыми, четкими — несмотря на то, что почерк у Вас торопливый.

Да, так я хотела сказать: нам ли знать о правоте или неправоте по отношению друг к другу тех, кто дал нам жизнь? — о той, возможно, трагической правоте или — той ликующей неправоте, которой мы обязаны своим появлением на свет?

„Дорогая Маша”, — пишете Вы, — и я будто бы вновь появляюсь на свет — под своим, казалось бы, навсегда утраченным именем!

У меня сейчас будто бы иное дыхание появилось, и пока оно еще не покинуло меня, я хочу попытаться рассказать Вам немного, еще совсем немного... нет, не о себе, не о себе, а о тех, кто дал мне жизнь, кто с самого моего появления на свет называл меня Машей.

В периоды ожесточения своего против моей бабушки — горделивой царицы, затиснутой в комнатушку коммунальной квартиры, надменной обладательницы своего стола в общей кухне и своей кухонной полочки над столом (она и на коммунальной кухне, среди соседок, не теряла уверенной властности: голосом, поступью, взором — всем своим обликом противостояла коммунальному чаду), — в периоды ожесточения в ответ на бабушкино давление, на ее суровую опеку, на подминание под себя или презрительное отбрасывание всего, что не она, не ее личность, не ее порядок, не ее уклад, не ее внутренний мир, не ее внешний быт, — в тяжкие периоды эти — понимаете? — я забывала, что бабушка, в течение долгих десятилетий запертая в коммунальную жизнь, в ее ничтожные раздоры, такие убийственные и неотвратимые, как бы запрограммированные на многие жизни вперед! — запертая во все это, она внутренне *металась*, — не для поступи ее, не для ее *очей* была коммуналка! — металась до неистовства, из гордости и виду не показывая. И лишь иногда происходили грозовые разряды в нашей общей комнате, и молнии, молнии ударили куда попало, так что дрожало все, и сверкало, и пахло паленым...

А обычно — и в комнате, и в длинном пыльном коридоре, и в кухне коммунальной — бабушкино лицо являло собой какое-то темное спокойствие непогоды, плотной, большой, но стабильной, не разряжавшейся ливнем грозовой тучи.

Поколения рождались, проделывали первые шажки по темному длинному коридору, и выраста-

ли, и влюблялись, и женились, и рождали детей, а к в а р т и р а — со сварами бессмертных старух, со взвизгиваньями прирожденных домработниц, пролезших в скучающие жены полуобеспеченных мужей, иждивенок и пенсионерок с природным призванием к *коммунальности*, с костлявой безвозрастной ведьмой Быстрогоновой, после своего замужества поселившейся в к в а р т и р е — тоже на жизни вперед, выперевшей пинком на улицу круглоголового дурака-мужа и завладевшей комнатой, — все это было, будет — все тем же...

Дети рождались, рождали — своих детей... А бабушка моя все так же, молчаливо-надменно, стояла возле с в о е г о кухонного стола, перебирала кастрюли и миски на с в о е й кухонной полке.

Понимаете?.. К в а р т и р а была, есть, будет. А бабушка... Бабушки — нет. Нет у меня бабушки! А она, бабушка моя, при всех противоречиях, это... это — мой свет. Кто может, кто сможет это понять? Я?.. Едва ли...

„Пройдет — словно солнцем осветит!
Посмотрит — рублем подарит!”

А мой отец?.. Если бы Вы знали!.. Ведь моя мама не просто догадывалась, она знала об исключительной любви моего отца ко мне (она говорила мне, что у него ко мне с л е п а я л ю б о в ь! — а когда я пробовала возражать, она с сердцем, гневно обрывала: „Да, слепая!”), она знала о моей страстной нежности к нему, о том, что я была его избранницей... Да, да, я!.. Я была его гордостью, его болезненной любовью. Надо ли было ему, моему отцу, прощать мне мои недостатки? Да он просто не замечал их, — но не сослепу, — от любви не замечал! И уж во всяком случае, общеприятным, житей-

ским взглядом не смотрел на них, — не то чтобы он их не видел, как утверждала мать, а просто он что-то иное, свое во мне видел. А когда недостатки были неоспоримые, то и их в достоинства превращал.

Когда мы с ним, выйдя из нашей коммунальной квартиры, чтобы воздухом подышать, ютились на краю занятой скамейки, в единственной поблизости чахлом скверике, среди подвыпивших детей, разливавших в граненый стакан крепленое зелье из магазина напротив, среди старух с колясками, нянек с вязаньем и неизбежных парочек с туповато-отрешенными лицами, — жадно глотали грязный воздух ранней весны, я курила, торопливо затягиваясь, а отец сдержанно, со скрытым подъемом говорил мне:

— Ты должна идти своей дорогой, Маша, и ничто не должно сломать тебе хребет.

Он — отец — своей дорогой шел. Тундра и пески Средней Азии. Уральские горы и казахские степи. Таежные просторы, волжские просторы... Экспедиции, экспедиции, экспедиции. И — в перерывах между экспедициями — Москва, прокуренная комната научно-исследовательского института, тесно сдвинутые столы, за одним из которых — кроткий „начальник” — папа, а за другими — его немногочисленные сотрудники.

А дома — раскладушка в единственной общей комнате (моя раскладушка — за шкафом, рядом с ученическим столиком). А у него — ни стола своего, ни отгородки, просто — раскладушка, которую он ежеутренне складывал и ежевечерне расставлял.

Он — с папкой на коленях, с папкой, которую подкладывал под лист, когда работал. Работал упорно, не отрываясь, не замечая комнатного шума

и законного грохота буксующих грузовиков.

Так, на краешке стула, с папкой на коленях — писал он (и написал) свою докторскую диссертацию.

Иногда я внезапно бросалась к нему на шею, прижималась лицом к его колючим щекам, оставляла на них и на отворотах его пиджака или на серенькой его пижаме, в которой он казался особенно хрупким, соленые мокрые пятна:

— Папа! Папочка!

— Ну чего ты, мартышенция... — говорил он смущенно, не откладывая листа, но и не отстраняясь.

— Николай, ты же всем мешаешь, — говорила бабушка, проходя с горячей кастрюлей, — сел бы где-нибудь не на дороге...

— Подожди, мартышенция, я пересяду...

А я — все не отпускала его, все не отпускала! И косилась на мать. И встречала ее насмешливо-понимающий и не принимающий взгляд.

Вот если бы я была... ну, пусть не сыном даже, дочерью! — но похожей, похожей и лицом, и складом на маму. Да, да. На нее или — еще лучше — на ее мать, на мою бабушку... Может быть, тогда мне бы не говорили всю жизнь:

— Маша, не вырони миску. Маша, не прорежь клеенку. Маша, оставь отца. Маша, ты, как всегда, мешаешь.

„Дорогая Маша“... — так написали Вы мне. Я сейчас опять вспомнила про это и для пущей верности еще раз взяла в руки открытку, еще раз перечитала обращение. „Маша“!.. Вот это-то коротенькое слово, оброненное Вами, и заставило меня разговариваться сейчас.

... — Подожди, мартышенция, я пересяду...

... Подождите, я сейчас вытру лицо. Я над этой

страничкой разревелась даже. Не понимаю, не могу понять, что это со мной случилось? Почему п а м я т ь нежданно-негаданно вдруг так живо дала о себе знать?.. И почему-то мне сейчас кажется, что именно в Вашей помощи, — не только в открыточке этой (хоть и давшей мне уже силы!), но и в письме Вашем! — я острее всего нуждаюсь, именно в Вашу поддержку — пусть даже и на расстоянии — верю.

Чей-то шаг скрипит морозно,
Подгоняя нас.

Кто-то взглядывает грозно
И спешит вослед...

Саша?..

Я... Я хотела сказать, что и Саша тоже может мне помочь. Саша тоже может мне разъяснить... Да, да, мне самой — меня объяснить!

Как жаль, что его сейчас дома нет. Ведь я так привыкла — с каждым недоумением своим, с каждой болью и даже болинкой своей, со всеми вопросами, на которые и ответа-то, может, и нет, — идти к нему, к Саше. Мне всегда казалось, что он все может. И если даже это — иллюзия, то — скажите! — что может быть светлее такой иллюзии?

11

Когда Саша вернулся домой, первый его вопрос был:

— Есть нам почта?

Я протянула ему Вашу открытку. Саша прочитал ее вслух:

— „Дорогая Мара! Простите, что долго не писал Вам, но моя загруженность...”

— Это вся почта?

— Вся, — сказала я. И вспыхнула.

— Не густо...

Я так и думала, что он не заметит „Маши”, прочтет по привычке „Мара”... И вдруг какой-то лукавый чёртик ожил во мне.

— Саша, а ты внимательно прочитал открытку?

— Да, а что? Тут и читать нечего.

— Ну, прочти еще разок! Вслух! Ну пожалуйста!

Он пожал плечами, зевнул.

— Ну Сашенька! Ну я прошу тебя!

— Пожалуйста: „Дорогая Мара! Простите, что долго не писал Вам, но моя загруженность”... — Саша монотонно дочитал открытку до конца. — Я полагаю, — сказал Саша, — мы с тобой иногда получаем более информативные, более подробные письма. Ведь открыточка-то ни о чем. Сразу видно, занят человек.

— Да, да, ты прав.

И я погасла.

А может быть, я даже и не погасла. Просто — жара. Душно у нас сегодня. Такой уж вечер выдался. Ни дуновения. Днем дул свежий бриз с моря, к ночи — с суши дует, а сейчас, как видно, междуветрие.

Да... Духота меня что-то мучает. Хочется писать стихи — сами просятся — про сырость, про влагу, про зеленую тишину. Легкую тень берез и лесную прохладу ощущаю почти физически.

Помнится, и Вы мне советовали в жару писать о чем-нибудь ином, кроме жары, — то есть именно про влажную лесную тень, про болотистую местность, про незабудки и щавель.

— Саша!..

— Ну?

— Я сегодня стихотворение написала.

— Очень хорошо. Прочтешь?

— А ты мне сам прочти. Вслух.

— Пожалуйста. „Портрет сестры”. Это — о Нине?

— Да. Я что-то в последнее время их всех вспоминала.

— И давно пора. Пора бы тебе, матушка, в Москву написать. Не все же мне за тебя отдуваться.

— Ну, прочти стихотворение. Только читай не сухо, читай с чувством, ладно?

— Ну, а если оно мне не понравится?

— Это очень даже может быть. Ну все равно, пожалуйста, прочти. И скажи, что ты думаешь о нем.

Саша взял листок:

В ее глазах, в полуулыбке
Гуляет легкий холодок,
И ей не хочется — ошибки,
Сквозной, как воздуха глоток.

И если взгляд ее зеленый
Переместить на полотно,
Она предстанет утомленной,
Слегка насмешливою, но —

Я помню вечер, вечер душный,
Шопен, пролетная гроза,
И так тревожно-непослушно
Вдруг повлажневшие глаза!

Все глубже отблеск светотени,
Стесненной рамкою холста, —
Пусть даже глупости весенней
Уже подведена черта.

— Ну как? — робко спросила я, не отрывая глаз от Сашиного лица.

— По-моему, получилось.

— А на Нину, на Нину это похоже, напоминает ее?

— Не знаю.

— Как же ты не знаешь? — сказала я с раздражением. — Ты ведь так хорошо знаешь Нину. Ты ведь увидел ее впервые, когда ей... постой, сколько же ей тогда было? Мне — восемнадцать, а ей...

— А она на девять лет моложе.

— На восемь с половиной, — сказала я.

— Хорошо, на восемь лет, пять месяцев и двадцать восемь дней. Тебя это устраивает?

— К чему ты мне это говоришь? Нарочно?

— Что с тобой, Маша?

— Ничего. Мне просто странно, что ты не уловил сути сходства.

— Не уловил — значит, недостаточно выражено.

— Да?.. А ведь я в этом стихотворении хотела сказать, что она *взрослая*. Да, да, не все определяется годами. Я хотела сказать, что на самом деле она, она *старше*, чем я!..

— Старше тебя? Я этого не нахожу.

— Да, *старше!* Во много раз *старше!* Рассудочнее, взрослее!

— Не замечал.

— Так я, по-твоему, рассудочный человек? Ты это хотел сказать?

— Мне кажется, мы говорили о стихотворении.

— О стихотворении или о жизни — какая разница?

— Очень существенная. Жизнь — это жизнь, а литература — это литература.

— Что ты так холодно, так жестко поучаешь меня?

— Я?

— Да, поучаешь, поучаешь. Все время учишь. Не-

смотря на то, что я уже седая, что у нас с тобой скоро внуки будут!

— Что с тобой, Маша? — Саша подошел ближе, нагнулся, погладил меня по голове.

Я всхлипнула.

— Все равно ты меня... поучаешь! Поучаешь! Поучаешь!

— Я? И не собирался. А стихотворение, по-моему, неплохое. Я бы только на твоём месте в первой строчке вместо „полуулыбки” поставил „в улыбке”:

В ее глазах, в ее улыбке...

Ты не находишь?

Я ничего не отвечала. Я отодвинулась от него. Я плакала. Плакала беззвучно, закрыв лицо обеими, сразу же намокшими ладонями.

12

После долгих сомнений и колебаний я послала Вам письмо. В сущности, не письмо даже, коротенькую записочку:

„Получила Вашу открытку. Это было большой радостью. Учитывая Вашу серьезную загруженность, особенно отрадно сознавать, что наша переписка все же может не прерываться.

У нас все по-старому. Саша работает (снимает фильм о предприятиях Мертвого моря), я бездельничаю. Правда, иногда я пытаюсь писать стихи (которые некому читать), но может ли это считаться работой? Сережа в армии. Его как единственного сына часто отпускают домой.

На днях я написала стихотворение — „Портрет сестры”, — но не рискую посылать Вам: по-моему, стихотворение довольно слабое, а главное, не пере-

дает основной черты характера моей сестры: ее взрослости. Она светлая и холодная. Не знаю, что бы могло ее зажечь.

...Но помню, вечер, вечер душный,
Шопен, пролетная гроза,
И так тревожно-непослушно
Вдруг повлажневшие глаза!

Да, это было давно. Впрочем, все мы меняемся.

Что слышно у Вас? Как подвигаются Ваши статьи по философии, пишете ли что-нибудь о литературе?

Саша и Сережа шлют Вам привет. Пишите. Я буду ждать.

Ваша М.”

Ответа я не получила.

Правда, вот это свое письмо-записочку я никак не могу счесть для себя унижением: ведь душу я перед Вами не раскрывала. Наверное, самое страшное — раскрыться и получить в ответ молчание...

13

Да... Почты все нет, все нет.

Впрочем, не только Вы не пишете мне, в сущности, давно не пишет никто. Я словно в изоляции. С каждым днем я все острее, все мучительнее ощущаю это. А если и придет письмо, — так не мне, а *Маре Никольской*: какое-нибудь приглашение на вечер, на писательский съезд, на который я все равно, будь даже у меня силы, не поехала бы — какой смысл, если иврита я до сих пор не знаю.

Изредка, откуда-то с другого конца света, приходят письма от людей, которых я и не видела ни разу. И все эти письма — к *Маре Никольской*.

А может быть, моя записка к Вам слишком суха, потому Вы и не ответили на нее?..

Если уж хотела писать Вам о стихах, то почему я в это сердца не вложила? Почему написала так натянуто? А ведь стихи — это во многом моя жизнь, моя жизнь... Ведь можно было о них как-нибудь иначе написать, так, чтобы Вы ответили, чтобы Вы не смогли не ответить!

Ну, хотя бы — если бы я написала Вам так, как одному незнакомому человеку (читателю), живущему в Канаде, человеку, приславшему мне когда-то доброе письмо... То есть, не мне, а Маре Никольской. И все-таки для этого незнакомца (чувствуется, что человек он очень хороший), любящего стихи, нашлись у меня какие-то более живые, хотя и не *мои*, а *Марины* слова:

„Знаете, я сейчас стала как-то острее, взволнованнее сознавать, как необходимо для нас — иметь доброжелателей, друзей, людей отзывчивых и чутких к слову — в разных частях света. Это — расширяя окно в мир (куда больше и полнее, чем, скажем, телевидение!) — одновременно позволяет глубже, полнее, разностороннее общаться с самим собой. Дело ведь не в эгоизме и даже не в эгоцентризме, — дело в постижении своей изменчивой и в то же время неизменной сущности... Это постижение помогает приблизиться и к другим людям, — ведь в чем-то глубинном, в чем-то таинственно роднящем нас друг с другом мы, при всех невероятных различиях склонностей, характеров, занятий — в чем-то „невидимом для взора“ (как сказано в одном из моих ранних сонетов) — сокровенно похожи...

Должно быть, именно поэтому лирика (хорошая) не обречена на дневниковость, а отзывается

в сердцах многих... Да, да, иногда стихи оказываются личными и выстраданными не только для самого автора (ведь если — только для него одного, зачем печатать?), — но по каким-то непостижимым, непонятым для меня законам — чем стихотворение глубже, чем оно более личное, чем больше в нем пережитого автором, — тем острее трогает оно других, непохожих и вчера еще незнакомых людей.

Наверное, именно поэтому подлинная лирика неделима на „темы“: четыре времени года могут оказаться не только стихами о смене времен года, а стихи о любви могут неожиданно проломить отведенное им время и пространство и неожиданно прорваться и сквозь „тему“ (очень высокую), и сквозь настроение и возраст автора, и устремиться к чему-то вечному, к чему-то (сохранив все свое пронзительно-личное наполнение), — к еще более высшему... к Богу?... Да, да, должно быть, к Богу...

Мне многое, многое неясно во „внутренней лаборатории“ создания стихов. Иногда я удивляюсь строчке, строфе (если она удачна): откуда такая взялась? Надо же, как у меня получилось!.. Разумеется, мрачнею и прихожу в состояние скованности и неконтактности с собой, с внешним миром — если день за днем, сколько ни мараю бумагу, сколько ни исчеркиваю черновиков, руки как бы скользят по гладкой отвесной стене, не за что „уцепиться“, все так банально, так равно в своей наступательной безжизненности... Таких черновиков я стыжусь, часто их рву и все больше мрачнею, и некогда (скажем, месяц назад) удачно написанная, вернее, каким-то образом появившаяся, родившаяся на свет, излившаяся строфа кажется мне навсегда последней. „Теперь-то уж все кончено“, — едко говорю я себе, и все во мне и вокруг меня как-то

обесцвечивается, тускнеет, теряет вкус и осязаемость... Не говоря уж о „шестом чувстве”, иногда трепетно угадываемом и так часто пропадающем, — о каком журавле в небе можно говорить, когда и синица-то в руках — искусственная? Чирикай себе, заводная птичка, пока не кончится завод...

Ах, как нужен читатель!.. Как нужен он был мне там, в СССР (там временами был полуподпольный читатель, но — почти что не для меня, не для меня: ведь я, в отличие от многих других, свои стихи — даже лирику, даже *мажорные!* — в Самиздате распространять боялась), — да, как нужен был нам русский, не советский читатель — тогда, и — как он нужен нам теперь!..

Может быть, и есть люди, которые пишут стихи для самих себя и не нуждаются в отклике, в общении через стихи с другими людьми, независимо от их профессий, словом, — с *читателем*, — но я таких стихотворцев не встречала ни в Москве, ни после выезда из СССР. Мы нуждаемся в слушателе, в читателе, мы жаждем, чтобы нас понимали, чтобы мы были нужны.

Поэтому — большое Вам спасибо за Ваши письма и за то, что Вы любите стихи. Да, да, в наш век хочется от всего сердца благодарить каждого человека, *читающего* стихи. Ведь он, век наш, достаточно прозаичен и рационален.

Но в то же время — проблесками! — и чудеса нет-нет да и проявляются. Бывает так, что человек, казалось бы, совсем не лирического склада и мышления, в сердце своем оказывается тончайшим, трепетным лириком, ему нужны стихи, у него постоянная потребность в стихах, более того: порою стихи ему близки настолько, что он как бы сам — сотворец (не соавтор, что сухо, а именно *с о т в о р е ц*) стихотворения. И может быть — как знать?.. — сти-

хи таинственно помогают ему жить в его повседневности, достаточно размеренной и рациональной.

В Москве, помнится, часто бывало так, что любителями и ценителями лирики оказывались люди „точных профессий”, а не „гуманитарии”, нередко повторяющие задолбленные в гуманитарных сов. вузах схемы. Гуманитарное „образование” в Сов. Союзе, мне кажется, для личности много опаснее, чем какой-нибудь факультет точных наук, — хотя и он там не освобождает от идеологии, навязанной, по-видимому, на жизни вперед „вечно живыми” догматиками...

Пишите мне. Всегда, когда Ваша огромная занятость позволит Вам немножко „побыть со стихами”, — вспоминайте и обо мне.

Ваша сердечно
Мара Никольская”

Разве в этом моем письме есть что-нибудь фальшивое, что-нибудь — не близко меня касающееся?.. Почему же, почему же я не могу послать такого письма Вам? Ведь, может быть, на такое письмо Вы бы и ответили мне... то есть Маре.

Маре!.. А я — не хочу, не хочу. Все, что болит у Мары Никольской, болит и у меня. Но — разговариваю с Вами, и молчу подавленно, бессловесно живу, и писем Ваших жду я — Маша...

14

Там, в Москве, я и не подозревала даже, что дойду до такого унижения: буду ожиданием Ваших писем жить, ожиданием Ваших писем — дышать.

Унижение?.. Но я могу — хоть сейчас — перечитать посланную Вам свою короткую записку, у меня черновик остался. „Что слышно у Вас? Как

подвигаются Ваши статьи по философии?.. Саша и Сережа шлют Вам привет"... Да какое же для меня во всем этом унижение? Да Вы — хоть век не отвечайте на эту мою записку!

И вообще: я должна *переболеть Вами*.

Для чего некоторое время назад прислали Вы мне открытку, для чего назвали меня Машей? Значит, обмолвились? (Недаром Саша не заметил!)... У Вас — времени для писем нет? Заняты слишком? Ну, и я тоже — занята, занята... Вы просто, видимо, относитесь к числу тех, кто считает литературную работу (стихи — в особенности, в особенности!) — прихоть, игрой: разве поэзия — это труд? Разве это называется работой? Мне, бездельнице, можно и не отвечать. Я — подожду, подожду. А вот у Вас — в самом деле великая загруженность. И общество, и Вы сами так себя загрузили, что где уж там минуту тишины для письма, для открытки выбрать.

Ну так вот... И я тоже, я тоже занята. Я тоже работаю, — хоть считайте до скончания века, что стихи — не работа.

И еще... к чему записками своими (даже подчеркнута сдержанными) вымаливать Ваши ответы?

Да ведь должна же быть, наконец, и гордость!

15

Когда Саша приехал со съемок, я — словно девчонка, словно — после долгой разлуки, бросилась ему на шею. Такое для меня было счастье и облегчение, что я уже не одна!

Потому что — вот странность! — когда думаешь наедине с собой о ком-нибудь, думаешь постоянно, упорно, а отклика не встречаешь, чувство одинокой тоски все усиливается, все усиливается, и тогда

приезду близкого человека радуешься, как приближению обетованного берега.

— Ну, как прошел у тебя день? Написала кому-нибудь?

— Писала ли я стихи, об этом ты не спрашиваешь, — ответила я с некоторым вызовом и сама даже удивилась раздражению в своем голосе.

— О стихах, я надеюсь, ты сама мне расскажешь. А что, есть что-нибудь новое?

— Нет, я просто часто думаю, — я едко усмехнулась, — что стихи — это не работа... Не солидно как-то, да и призрачно чересчур.

— Мы уж с тобой не раз говорили на эту тему. Ведь в глубине души ты сама так не считаешь, но тебе почему-то хочется...

— Ничего мне не хочется. Ничего. Ужинать будешь?

— Нет, мы там перед отъездом поели, всей группой. Администратор затащил нас в ресторанчик и накормил за счет казны.

— Ну, тем лучше. А то дома, кроме холодной картошки, ничего нет. Я в магазин не ходила сегодня.

— Завтра у меня свободный день, вместе сходим, накупим всего на неделю. А в Москву написала?

— Нет.

— Почему? Ведь я тебя вторую неделю прошу. Я ведь твоей маме пишу.

— А ты думаешь, ей очень нужны *мои* письма? У нее есть Наташа, Даша и Союз писателей.

— Не понимаю твоей язвительности.

— Как-то не очень утешает, — распаялась я, — что на собрания она пытается не ходить, вообще она там мелкая сошка, — но ведь остатками пирога она все-таки пользуется: „творческие” командировки — например, в Норильск...

— Ну и что?

— Ты забыл, как она — после поездок: „Надо же видеть и положительное. Вот какой прекрасный город в Заполярье построили”. А на чьих костях...

— Ну что ты заводишься?

— Писательский магазин, где можно по писательскому билету дефицитную книжку отхватить... Пачку финской бумаги или польской копировки из закрытого фонда...

— Есть будешь?

— Хотя я маму, может быть, даже и люблю.

— Может быть — „даже”?

— А иногда мне кажется, что я не только не люблю ее, я ее...

— Ладно, Маша, хватит.

В молчании съели картошку, выпили остывший чай.

— Ну что ты все время молчишь? — спросила я, наконец, с сердцем.

— Машенька, а ты не допускаешь, что после двенадцатичасового стояния на ногах, на жаре, можно немного устать?

— Ну и отдыхай. Я же не мешаю тебе.

— Нет, это, наверное, я мешаю! — Саша с неожиданной нервностью резко отодвинул стул, встал.

— Саша, Сашенька! Ну прости меня, прости, — я обняла его за плечи, заглядывая в лицо. — Я просто хотела сказать...

— Что тебе тошно?

— Я просто хотела сказать, что в моих стихах мама ничего тогда, в те предотъездные годы, не поняла.

— Бог с тобой, что там можно не понять?

— Не поняла моей многолетней ностальгии т а м, в СССР — по России. К несчастью, моя мать...

— Почему ты маму называешь „матерью”?

— К несчастью, моя мать и я никогда не говорили друг с другом о самом главном...

— О чем же?

— Да ни о чем...

— О несовместимости России и СССР? Так ты же знаешь, что для нее вопрос не стоял так.

— И не стоит!.. Только почему ты ей все прощаешь?

— Хотя бы потому, что она твоя мама. Ладно, кончили. Сядь-ка лучше и напиши ей.

— Я пыталась иногда говорить с ней, но она уклонялась от разговора, говорила, что я все вижу в слишком мрачном свете, и вообще: „Для кого ты пишешь? Для будущих поколений? Хочешь печататься — постарайся увидеть в жизни что-нибудь позитивное”. Вот ее обычный припев. Но у меня никогда не было таких амбиций — писать для будущих поколений... Да и вообще волновало меня и волнует — мое, наше, а не какое-нибудь далекое неведомое время. Писала в стол? Ну и что же... Мы ведь не думали тогда об отъезде, не надеялись, что стихи кто-нибудь прочтет — за исключением горстки тех знакомых...

— Среди которых...

— Среди которых были и стукачи. Можешь не продолжать. Я заранее знаю, что ты скажешь.

— Маша, почему ты так раздражена?

— А потому, что моя мать-то к разряду стукачей не относится. Я могла у нее в Опенково, в дровах, прятать не только свои стихи, но и любой Самиздат.

— Машенька, да разве я когда-нибудь в этом сомневался?

— Ну и не сомневайся. При всей ее этой порядочности в стихах она так ничего и не поняла. Хотя и сама их пописывает.

- Скажем, редко.
- Редко, да метко:

„Режу лыжами наст
Меж берез и осин” ...

- Ты, кажется, даже не рада, что я приехал.
- Неправда!
- Хочешь, выйдем немного пройтись?
- А куда здесь выйдешь? По кругу: дом, магазин, почта, банк, шоссе, дом — или в обратную сторону?
- Что с тобой, Маша?
- Ничего. Поясница болит.
- Хочешь, зайдем к доктору Розену?
- Зачем?.. Доктор Розен сказал мне: „Вам уже минуло сорок лет, и в этом вся причина”. Врач, который гасит пациента! Лишает надежды!
- Он и о себе говорил, — сказал Саша. — Он и обо мне...
- Ну и обнимайся со своим доктором Розеном.
- Так ты не хочешь выйти подышать?
- Тут и посидеть негде. Ни одной скамейки.
- Так садись за письмо. — Саша обнял меня за плечи, ввел в нашу комнату, усадил за стул.
- А что мне ей писать? А ты обратил внимание, что она нам пишет? О погоде, о грибах. О том, что у Даши очередной зуб прорезался...

Но — не о письмах матери думала я в эту минуту: о своей сдержанной записке Вам. О записке, на которую Вы не ответили.

Что же мне делать? Что делать? Почему я так часто, так много, так неотступно думаю о Вас?

И ведь, кажется, мы все привыкли к потерям, — так почему же я так боюсь потерять Вас?

Да... Я так много хотела бы сказать Вам!.. И — не могу. Немею.

За окном — лютое солнце. Лютое солнце...

Но — представьте себе, давайте представим себе, что сегодня — совсем серенький денек, по краскам, по освещению — какой-то подмосковный.

Представьте себе: серое лето где-нибудь на даче, в листьях шуршат дождевые капли, воздух, зелень, земля, сырая терраса — все пахнет дождем, и мы с Вами на террасе пьем утренний чай, глядя на зеленые ветки в открытом окне, вдыхая серый, сырой, дождливый воздух — и спорим о том, разъяснится сегодня или не разъяснится.

А заварка чайная — хороша, крепка. С каждым глотком я чувствую прибывающие силы, молодость, бодрость... и даже возбуждение, пожалуй.

Думается — хорошо, свежо, по-утреннему. Серость пейзажа не „давит“: во-первых, с серым цветом борется зеленый, которого кругом великое множество, а во-вторых, уныние, то самое уныние, которое порой завладевает мной в серые пасмурные дни, перебарывается сейчас свежей, черной чайной заваркой и нашей оживленной беседой. Сколько дней Вы пробудете у нас на даче? Хорошо бы — подольше!

А когда Вы отправитесь в город, мы проводим Вас по хвойной, сырой, земляной дороге, до самой станции. Мы будем расхаживать по перрону и радоваться, что поезда все еще нет. И я буду читать Вам свои московские — подмосковные! — стихи о своей первой юношеской любви, о молодом человеке, который приезжал ко мне со своей теткой,

нежно и суетливо опекавшей меня, и с букетом цветов.

Мне было тогда шестнадцать лет, я заканчивала кое-как, скрипя, — не давались мне школьные премудрости! — девятый класс... Через два года я поступила в институт, во ВГИК, и уже больше не думала о Юре (так звали молодого человека с теткой и с букетом). Но что-то „шестнадцатилетнее” во мне осталось и по сей день:

...Я холод глотаю. Я праздную вновь
Настой этот, наст недовзрослости
терпкой.
Мне — только шестнадцать. И — зелена
кровь.
И зря меня зрелые жены не терпят...

Но вот и Ваш поезд... Подхожу, спеша, вместе с Вами к самому вагону, на ходу поспешно договаривая Вам строчки стихов...

Вот Вы уже в вагоне, у окна. Вы опускаете стекло, чтобы мы с Вами могли договорить друг другу что-то важное и интересное, пока еще не тронулся поезд. Я протягиваю в окно руку, и Вы сердечно, крепко пожимаете ее. Поезд трогается. Я стою на перроне и продолжаю махать рукой — сначала Вам, а затем — хвосту удаляющегося поезда... До свиданья, дорогой Друг, до свиданья!

... Мне — только шестнадцать. И — зелена
кровь.
И зря меня зрелые жены не терпят... —

бормочу я самой себе, медленно возвращаясь со станции.

На террасе меня ждет остывшая чайная заварка,

и я допиваю ее лениво, уже без прежнего подъема. Холодный чай, впрочем, как и чай слабый — для меня не чай...

Пошел дождь. Сначала он зашуршал, закапал, затокал по веткам, по крыльцу, затем — припустил сильнее. Еще сильнее...

Я закрыла на террасе окно, чтобы дождь не намочил мои рукописи — мои рассыпанные по столу листочки, которые мы с Вами вместе сегодня читали...

Итак, в этот серенький, такой не израильский по краскам, такой землероссийский денек! — могло бы быть положено начало нашей переписке, нашим мыслям вслух, нашему путаному, может быть, и в то же время такому ясному по пронзительной свежести, с запахом лета и дождя, и неуходящей молодости, молодой грусти, диалогу...

Уходим ли мы из молодости? Должно ли это случиться с нами? Или возможно ч у д о? Ч у д о, то есть постоянное вдохновенное движение к себе и к людям...

17

Очень уж больно без весточек Ваших, без голоса Вашего. Ну, хотя бы открыточки.

„Дорогая Маша!”... „Маша”!.. Ведь это — не может много времени у Вас занять, а для меня каждое слово Ваше, даже и в коротенькой открыточке, знак — что помните... И еще: каждое слово Ваше — для меня сердечная, душевная, духовная пища. Нет, я не преувеличиваю. Мне как-то не до этого. Больно мне, больно.

А еще: кроме боли из-за молчания Вашего — мне больно оттого, что я привыкла с Сашей делиться всем, всем, — а вот этим... этими березами, напоми-

нающими мне Вас, этой тоской своей, этим томительным, этим мучительным ожиданием Вашего письма — поделиться не могу...

Я хорошо, я очень хорошо знаю, я прекрасно знаю: я должна себя перебороть. Отвлечься. Забыть о Вас, забыть. Но что мне делать, если даже память, даже тоска по другим близким людям — по матери, сестре (впрочем, разве я тоскую по ним? Не по ним я тоскую, а по своему вымыслу и по своему представлению о них — таких, какими они были бы мне нужны и близки), — даже это все перекликается, щемяще отзывается памятью о Вас, о Вашем то чересчур громком, то застенчиво-глуховатом голосе, о Ваших письмах, порою искрившихся, переливавшихся юмором!..

А моя мать? Что она мне? Что я ей? И разве она дала мне жизнь? Нет, я рождалась сама по себе, в мучениях, и — для чего?.. Для чего, скажите? Ведь должен же быть какой-то смысл во всем. Ведь я куда-то мучительно шла. Так отчего же тупик? Отчего же тупик?

А уж если кого я боюсь потерять, так не мать, не сестру (можно ли потерять то, чего никогда не имел?), а Сашу. Да, да, кроме Вас (впрочем, Вас-то я уже потеряла, — тем более!), я боюсь потерять Сашу. Саша — основа моя, жизнь моя повседневная, Саша мне и отец, и брат (у меня никогда не было брата), и муж, и друг. Пусть Саша думает обо всем, в том числе, что и когда писать матери моей в Москву, пусть Саша решает. А от меня — будут приписочки.

Я всегда во всем соглашаюсь с Сашей, я смотрю на себя и на мир вокруг (во всяком случае, стараюсь смотреть) — его, Шашиныными глазами. Он — и

руки мои, и ноги, и голова, — ведь я беспомощный, навсегда растерянный человек. Я даже чек выписать не умею.

Но я отвлеклась, отвлеклась. Я хотела сказать: во всем стараясь соглашаться с Сашей (порой даже принуждая себя к этому!), я не могу согласиться с тем, что он говорит мне о моей матери, о ее отношении ко мне. А говорит он вот что:

— У меня такое чувство, — говорит он мне, — что твоя мама любит тебя если не сильнее, то б о л ь н е е, чем Нину...

Неправда, неправда! Ведь она с Ниной — похожи. Обе — холодные и светлые, обе — с мартовским морозцем. Обе — родились в марте, кстати... Обе — сдержанные настолько, что любая попытка исповеди к ним — прекращается, не начавшись.

— Но она, твоя мама, — продолжает Саша, — она, при ее-то сдержанности, боится раскрыться, расстравить...

— Неужели? — скривив губы, говорю я.

И мне кажется почему-то, что не только о ней, о матери моей, Саша думает в эту минуту, — но и обо мне, и о себе, и что он каким-то шестым чувством знает мои мысли, знает, как выстраданно я жду Вашего письма. Да мне и самой кажется, что есть в этом моем ожидании какая-то вина моя, да, да, в этом непрестанном ожидании Вашего письма... или — даже приезда!.. — будто бы этим я отнимаю что-то у Саши. Что-то, ему принадлежащее.

А с другой стороны... А с другой стороны... Разве я — не отдельный человек? Разве я ни на что не имею права... не имею права даже думать о Вас?..

Вот в том-то и дело... Да, я не только не имею права, я не хочу, слышите? — не хочу попадать в рабство, зависеть от Ваших прихотей, от Вашей „загруженности“, словом — я не хочу так нетерпели-

во, так лихорадочно ждать Вашего письма, ждать, когда, наконец, опять раздастся Ваш голос: „Маша!“ Ведь это не может принести ни радости, ни спокойствия. А я... Я так хочу живой тишины, полноты внутренней жизни, гармонии, абсолютной правды в себе.

А между тем... Вот сейчас, когда Саша продолжает говорить со мной о моей матери, я думаю... Я думаю не только о ней, да, пожалуй, и не о ней вовсе. Что она мне, что я ей? Мы почти что незнакомые люди. А думаю я — о себе, о Саше, о Вас. О Саше и о Вас — с болью. Впрочем, нет. Я оговори-лась. Это я о Саше думаю с болью. Вы слышите? Только — о Саше!

Что же касается Вас, то я полагаю, что никому никогда не заказана

„Души высокая свобода,
Что дружбою наречена“.

Но — и этого у меня нет. И это — отнято.

И во мне поднимается ожесточение. Почему, почему вот в этот миг, когда Саша говорит мне о матери моей, я должна еще испытывать и чувство вины перед кем бы то ни было — перед Сашей, перед матерью, перед собой, а может быть, еще и перед Вами?

Почему?

И разве хотя бы один-единственный раз за все эти годы моя мать написала мне о главном — о жизни души? Или, может быть, она говорила со мной об этом в Москве? Может быть, лишь потому, что она всю жизнь обходила (и обходит!) стороной главные вопросы жизни, должна я чувствовать перед ней вину? Вину — в чем?

Я так задумалась, что не слыхала и половины то-

го, что мне сейчас продолжал говорить Саша. Он как начинает говорить, так не останавливается, раздражается, если я его перебиваю.

И все-таки я перебила его, чтобы как-то отвлечься от своих мыслей, чтобы включиться в разговор:

— Так почему же ты считаешь, что моя мать боится раскрыться, растравить, как ты выразился?..

— Потому что, — объясняет Саша, — как же ей быть, раскрывшись, обнажив свое сокровенное и глубинное?

Ах, скажите, пожалуйста. Как же ей быть. А как быть мне? Как *мне* быть, раскрывшись, и как жить *мне*, не раскрываясь?

— Потому что, — продолжает Саша, — а если — без твоей *такой же* взаимности?

А что она, моя мать, пробовала и наткнулась на отпор?

— Пусть в ней, в твоей маме, нет твоей внутренней страстности, нет категорического „все или ничего”, — ведь ты не раз и не два, получая ее сдержанные письма, запальчиво говорила мне: „Не люблю ее! Не люблю!..”

— И еще не раз скажу...

— Пусть ее боль ровнее, чем твоя, но растравить-то можно! А если при ее-то одинокости — да взрыв?

Эт о н а - то одинока!

А если при м о е й одинокости — да взрыв!
(Это я говорю мысленно).

Саша продолжает:

— Тогда бросать все надо и ехать...

„Тогда бросать все надо и ехать”, — как эхо, откликается во мне (мысленно).

— А она еще и человек внутреннего долга, и его может взорвать только очень уж сильный взаим-

ный взрыв, такой, когда почувствуешь, что в этом и только в этом...

Я, мысленно: „В этом и только в этом...”

— ... обретается жизнь, что найден смысл оставшихся лет, что есть то, за что невозможно не отдать всего остального.

„Всего остального”... Ну, во всяком случае, Сашу я не могу отдать...

— Ты понимаешь меня? Способна ты на такую самоотдачу, на такое чувство к ней, к твоей маме? Как ты думаешь, Маша?

Я молчала. И сердце сжалось от груза ответственности, которой, впрочем, никто не налагал на меня, — кроме, разве что, моей собственной совести. И в то же время я чувствовала, что этого груза — не снять, не облегчить.

„Память, память!.. — думала я. — Связь поколений, связь времен”. Давняя горькая память всей моей жизни и — недавняя свежая память Вашей открытки, голоса Вашего, оклика Вашего: „Маша”!.. Все это — со мной, со мной.

Память — наше владение, отданное нам в пожизненное пользование плодородное уголье. И слава Богу, что она есть...

18

До чего я жалка и слаба! Нет письма от Вас, — все нет письма от Вас — и мне хочется говорить о какой-то своей „вине”, которая, как видно, пожизненно на мне лежит, раз я наказана так, раз мне отказано в том, в чем не отказывают даже случайному знакомому: в нескольких строчках живого — пусть письменного! — разговора.

Впрочем, в отношении вины... в отношении вины моей — это не кокетство, не вымысел, не преувели-

чение. Я и вправду виновата... Но в чем? Конкретно — в чем? В своей трусости? В своей двойственности? В том, что Саша — это весь мир мой (мир, а не мирок), и все-таки я порываюсь еще куда-то, еще за чем-то... Господи!.. А вдруг я письма не получу вообще? И никогда я больше — никогда! — не увижу Вас?..

Ваши письма, даже и открыточка Ваша („Дорогая Маша!“) давали мне то, что Мандельштам называл „выпрямительным вздохом“... Вы освобождали меня (не совсем, не полностью, но все-таки освобождали!) от страхов, от тоски, давали мне надежду, веру в свое предназначение, желание жить.

... И твои березы не боятся
Раскачаться на ветру.

Ваши березы, мои березы, но — не *березки*, не те пресловутые „березки“, по которым, принято считать, тоскуют все эмигранты. Мол, не по березам, — по *березкам!* Нет... Я имею в виду живую березовую тень, свободную, не замкнутую в насильственные преуменьшения и в лакировку, во всякие там „березки“...

Свет, исходивший от разговоров с Вами, от Ваших писем, — проникал в глубь моего существа, разгорался и наполнял меня всю и все вокруг меня тайным теплом:

... И тепла таинственным свечением
Вся, насквозь, пронизана невольно.
Ведь не страшно это расточение,
Больно, если вдруг не будет больно!..

Потому что может и так случиться, что я устану
вконец, и будет мне в с е р а в н о.

Но пока... пока еще больно, и я так боюсь, боюсь, что все кончено, что больше Вы не отзоветесь, — и чем, скажите, заглушить эту боль (которую я к тому же боюсь потерять), этот страх, чем, как — исцелиться?

Молитвой? Ежедневной работой? Действенной любовью к другим людям, в первую очередь, к близким своим?

Это — говорить хорошо. Это — хорошо советовать. Но нет во мне этой доброты, этого долготерпения. Т а к — я не могу...

Часы стучат, часы идут,
Уходят прочь минуты...

Что это за мотивчик такой?

А часы в самом деле с каждым днем все сильнее, все громче стучат, — в особенности, когда я остаюсь одна, когда ни Саши, ни Сережи нет дома.

Священник мне, может быть, сказал бы: — „Живите действенной любовью к другим людям, ко всем людям. Вкладывайте всю себя в любовь к ближним, принимайте близко к сердцу все их горести и радости, будьте щедрее и к тем, кто вчера еще был посторонним”...

Да, да, я понимаю это. Я — хотела бы так. Но — не могу, не могу. Не умею. К тому же... к тому же, если бы я попыталась... если бы мне даже удалось это — вкладывать себя в действенную любовь к другим людям, то тогда... А вдруг тогда вот эта боль, боль из-за разлуки с Вами, из-за непонятного, непостижимого Вашего молчания — станет понемногу притупляться, а там постепенно и сойдет на нет? Разве это — не страшно? Разве не утрачу я тогда — вместе с утратой такой боли — живые пространства души, надежды?..

А может быть, все иначе. А может быть, будь я по-настоящему верующим человеком, я бы покорно несла свой крест: свою полную отлученность от Вас. Но нет во мне, к несчастью, нет во мне той полноты веры, которая бы возвысила и одухотворила вот такое мое смирение, то есть из „смирной“, какой я привыкла — за целую жизнь — привыкла внешне быть, стала бы смиренной...

Разве я виновата в том, что раньше, получая Ваши письма, я ощущала именно в них — а не в отказе от них! — некий светлый призыв к иной, высшей жизни, к жизни, где „и творчество, и чудотворство“, и доверие к людям, и предвосхищение подлинной веры?..

А теперь... Полная отлученность от общения с Вами — все равно что отлучение от самой себя, от внутренней свободы, которая когда-то в той, прошлой, жизни была моей тайной гордостью, моей опорой, моим утешением и ободрением. (Хорошо, что Вы не прочтете эти строки: как я могла бы т а к о е снести? Моя мать, видите ли, боится „раскрыться, растравить“... А я, я, у которой к Вам несравненно более наболевшее, более тревожное, более не могущее без Вас, чем у моей матери ко мне! — я, я, я — раскрыться — вот так — могу?..)

Я скована сейчас страхами и тревогами (и всё потому, что я потеряла Вас!), я не отзывчива к проявлениям доброты со стороны окружающих людей, — а ведь это страшно. Более того: я все чаще осознаю, что во мне появляется какое-то ожесточение против некоторых людей, чьи интересы кажутся мне жалкими, чьи заботы — суетными, чья практичность — наступательной и враждебной.

Где моя прежняя душевная живость, отзывчивое радушие? Злые мысли и злые чувства подта-

чивают меня. А злоба — я знаю это — плохой водитель...

А еще во мне — черная подозрительность: дескать, все притворяются, а на самом деле меня (во всяком случае, меня — Машу!) никто не любит, я никому не нужна.

Общение с Вами не только помогало мне, — оно укрепляло меня в естественном, как дыхание, в единственно справедливом (в моих глазах) миропонимании, что человек создан по образу и подобию Божию... И я в каждом своем собеседнике, даже случайном, обретаю — обретала — такого брата, такую сестру...

Господи, Господи, за что Ты меня этого лишил?

19

„Дорогая Маша!“ — в той короткой открыточке написали Вы. „Маша“!.. Значит, уже больше никто, кроме Саши, не скажет этого имени вслух.

Говорю тебе: когда я имела возможность общаться... с Вами, с тобой, я щедрее относилась ко всем. И общение с ними — с каждым, с каждой — было уже будто бы и не по законам нашего трехмерного мира, нет, оно было многогранно, оно было многомерно, оно было пронизано светом:

Мне снилась зима, до того молодая,
Что не было места унылым заботам.
О легком, о трепетном знала всегда я,
Но медлила, словно боялась чего-то.

А мнилось — продолжу в ином измеренье
Свой опыт, намеченный в нашем, трехмерном.
И снилось нездешнее стихотворенье, —
Ведь где-то оно существует, наверно.

Лишь дай ему вздох, долгожданному звуку,
Дай толику сна и вина золотого.
Рассудочность, не останавливай руку!
Еще я дышу, еще верую в Слово.

И вновь обнимают меня постепенно
Мой снег, моя нежность и юность святая.
И след мой, который казался мгновенным,
Опять обозначился, нехотя тая.

На днях Вы прислали мне книгу. Мы с Сашей ходили на почту получать ее. Саша, еще не дойдя до дома, нетерпеливо вскрыл пакет.

— Ого, интересно! — сказал он мне, начиная на ходу перелистывать.

Это был сборник статей по философии.

В книгу не было вложено ни письма от Вас, ни даже короткой записки. На первом листе было написано Вашей рукой: „Маре Никольской — дружески, почтительно”.

— Ты обязательно должна ответить, поблагодарить, — сказал мне Саша.

Я промолчала.

Дома я опять перелистала книгу. Нет, ни одной строчки — от Вас. Я тупо смотрела на титульную страницу, не замечая заглавия книги, а видя только надпись, сделанную Вашим, как всегда, торопливым и, как всегда, разборчивым почерком.

А вечером к нам пришли гости.

— Здравствуйте, Марочка, — сказала гостья и протянула мне коробку конфет. — Это вам как поэтессе, чтобы жизнь была более сладкой.

А ее муж поцеловал мне руку.

Все-таки я была и смущена, и очень тронута их вниманием и, не зная, как выразить свою благодарность, подарила им сборник стихов *Мары Ни-*

кольской, вложив в него листик от дикой виноградной лозы, выросшей у нас под окном.

... И зимний холод до рассвета,
Мороз почтительных приветов
Взамен тех глаз.
Моей поклонницы букеты...
Когда и как случилось это,
В который час?

...,Маре Никольской — дружески, почтительно’...

И зимний холод до захода,
И нежилая несвобода,
И двор в снегу.
И равнодушия природу,
Мной не постигнутую сроду,
Понять могу.

...,дружески-почтительно... почтительно... почтительно’...

Хоть не писала на потребу,
Но заработанного хлеба
Покой тяжел.
А мне бы — Господи! — а мне бы
Клочок нечаянного неба
Да в солнце — пол.

Чтобы ступить ногой босою,
Чтоб куст, забрызганный росой,
Стучал в стекло...
И чтоб наивно-дорогое
Вдруг детство или что другое
Ко мне вошло.

Когда я была маленькая, я говорила:

— Больше всего я люблю море и мороженое.

Моря я не видела, а видела двор — каменный мешок большого дома, где не росло ни травинки.

Да... Не было у меня ни моря, ни мороженого. Теперь — есть и то, и другое.

Саша покупает мне мороженое. Саша водит меня к морю.

Саша ведет меня за руку по жизни и водит меня за ручку. И я опять — будто бы маленькая девочка. Почему же я не говорю теперь:

— Больше всего я люблю море и мороженое?..

Почему?..

20

Лютое солнце. Ох, какое лютое солнце. Июль.

А я — с простудой лежу. Жар у меня, знобит меня. Дрожь пробирает меня — вот сегодня, сейчас, в июль...

Ох, как солнце печет. Как люди выносят это, как выносят? Ни ветерка, ни ветерочка. Ни намека на дуновение.

А у меня — 38 и 6 градусов. Грипп? Ангина? Не знаю. Горло болит, но при чем тут горло? Каждая клеточка болит.

Душно, душно мне, слишком душно.

— Саша, почта была?

— Только счет за электричество.

— А-а... — Поворачиваюсь на бок, пытаюсь забыть-ся сном.

Полузабываюсь, — и белая веселая зима обступает меня. Жадно проглатываю слюну. Или — мороженое?.. Так мне кажется. Так я жадно ела мороженое, с режущей болью в горле, в тринадцать лет, после удаления миндалин (мне тогда прописали есть мороженое).

Снег, снег...

Не с добра и неспроста
Была улица пуста,
И мело весь вечер,
Мглистый, зимний вечер...

Белые, белые сны.

... Сны во что-то белое рядятся,
Долго снятся по утру...

— Сашенька, дай мне воды. Только — холодной.
Из холодильника.

Пью воду медленными глотками. Это — мороженое. Это — снег.

Снег идет неслышно,
Словно в первый раз...

- Саша!
- Да?
- Побудь со мной.
- Тебе нельзя разговаривать.

...Снег, снег, от сердца отлегло...

- Ну ведь я так, немного...
- Повернись на бок и спи.

Снег идет все тише, лапчатый, тяжелый...

- Саша!
- Я сказал: повернись на бок и спи.

...Сны во что-то белое рядятся,
Долго снятся по утру...

— Саша!

— Спи.

„Спи“!..

Тогда... тогда я хочу... чтобы ты... чтобы Вы разговаривали со мной. Ладно?..

Ох, если бы — письмо!

Да, да, я говорю Вам: сегодня душный день. Сегодня ужасно душный день. Солнце жалит, жалит, и — ни ветерка, ни ветерочка.

Говорю ведь Вам: у меня жар. Температура высокая. Лежу. Мысли какие-то смутные, какие-то беспорядочные и всё сбиваются, сбиваются куда-то. Только одна мысль ясная, такая пронзительно-ясная: Вы больше никогда не напишете мне...

Жарко мне, жарко. Лицо горит. Горит — словно под палящими лучами лежу. А на самом деле — в тени, в тени. Оконный трис опущен. И вентилятор шуршит. Но он как-то неудачно повернут, не обвевает лицо, ветер мимо меня проходит, мимо кровати. А приподниматься, поворачивать вентилятор — не хочу. Пусть будет так. Пусть мимо меня шуршит. Пусть — мимо меня... Уж если плохо, так пусть будет совсем плохо. К тому же это мучение, может быть, немного уменьшит иную боль. Да, да, иную боль. Немного сгладит, отвлечет. Я вся горю, горю... И лицо, и вся я, до последней клеточки. Ах, как все раскалено, как непоправимо раскалено!

„Больше всего я люблю море и мороженое“... Когда я это говорила? Сколько мне было лет тогда? Пять?.. Десять?.. Не помню... А теперь-то мне много лет, мне так много лет, что и не сосчитать. Старая я, старая. А боль во мне — молодая, все еще молодая... Странно! Вот бы и уйти, совсем, совсем уйти, из боли уйти. Потому что если боль молодая,

так она от этого ни на капельку не легче, ни на капельку. Только злее. Сил у нее, у боли, много еще! А у меня... у меня нет сил такую боль выносить, такую — себя, такие мысли о себе.

Такая, как я есть, я никому не нужна. Я самой себе не нужна. Да и нет меня почти что уже, только боль. Она, только она одна — из всей меня — не хочет сдаваться, не хочет уходить. Может быть, даже и после того, как я *совсем уйду*, она, не желающая умирать, останется? Нет, нет... Этого не может быть. *Уход* — это бесчувствие, это — забвение, это — покой... Ох, как больно об *уходе* думать! В горле жжет, слезы текут по щекам, так мне жаль себя! Почему, почему я должна *уйти*?

И когда она впервые пришла, эта мысль? Эта мысль об *уходе*?.. И ведь должны же быть причины. Причины?.. Все они — во мне, во мне, я виновата во всем, я не могу сладить с собой, — с такой собой, какая я есть. А такая, как я есть, я не гожусь. Ни для чего не гожусь... Только стихи... А кому они нужны, стихи? Кто читает их? Да и дело не только в этом, не только в этом... Ведь, кроме этого, стихи — не защищают от боли, не смягчают ее, — наоборот, да, да, как раз наоборот...

Неужели это у меня в крови — желание нравиться, желание перемен, острое внутреннее беспокойство? Одновременно — я ничего не делаю для того, чтобы хоть немного улучшить, приукрасить, привести в порядок свою внешность, — она совсем, совсем у меня в загоне. И это — не только теперь, в последние годы, когда я начала считать себя почти старухой, — нет, так было и в юности, так было всегда.

Жарко мне, жарко... И знобит меня, знобит, знобит...

Зябко — знобит — сквозняки!..

И вот ведь что еще: вместе с этим внутренним

беспокойством (сквозняки гуляют во мне, сквозняки!), вопреки этому беспокойству, наперекор ему — какая-то сдерживающая сила, стремящаяся лишь к одному: к цельности.

Надрывы, разрывы, очарования и разочарования — все это хорошо в лирике, в стихах, но не в моей собственной повседневной жизни! Я так хочу живого, трепетного покоя, мира с собой и с близкими, живой тишины!..

Лютое солнце. Ох какое лютое солнце...

Жажда. Пить надо побольше. А глотать — больно, слишком больно глотать. И ломает меня, ломает все тело.

Я вот все на дикую лозу смотрю, выросшую у нас под окном. Можно протянуть руку, потрогать виноградный лист. Завянет она, завянет... Не может она вот так, без полива, без тени, ни с того ни с сего „вечно зеленеть”...

...,Надо мной, чтоб вечно зеленеть”...

Нет, лозу не поливает никто. И солнце палит, чересчур палит, жалит, жжет ее листья. А она, тенная (пока еще!) защищает нас от зноя.

Жарко мне, жарко...

Саша что-то все молчит, молчит. Оживляется — при посторонних, да и то не всегда.

Господи, дай нам внутреннюю энергию, чтобы светом — из глаз, чтобы... Господи, продли и укрепи душевную молодость, дай для нее силы, дай радость!.. Дай желание радоваться! Мне — и ему. Мне — и ему. Ему — и мне.

Душно мне, душно. И сердце у меня что-то болит. При каждом глубоком вздохе — боль. Это все — чай, чай... Или — кофе.

Ломает меня, всю меня ломает, Господи! Вентилятор шуршит — да все мимо меня, мимо меня.

Господи, уменьши эту духоту, дай мне силы любить и любимой быть и никому, никому не мешать!..

Ты мне душу не неволь,
Коль не можешь ей помочь.
Вот она, какая боль,
Вот она, какая ночь!

Мне бессонница была
Не предвестницей тепла,
А предчувствием разлук,
А мольбой сведенных рук,
Простыней, остывшей вдруг.

И прошу — не навещай
Изголовья моего.
Ничего мне не прощай,
Мне не нужно ничего.

Мою волю не смутишь,
Я вольна себе помочь.
Вот она, какая тишь!
Вот она, какая ночь!

Саша к почтовому ящику спустился. Сейчас придет. Что-то долго он не идет. Разговаривает с кем-нибудь? С кем-нибудь из соседей...

Душно мне, душно... Жарко...

Когда Саша придет, я ему скажу:

— Прости меня, Саша!

Он спросит:

— За что?

А в самом деле, за что? Ну, хотя бы за то, что я — это я... За то, что не умела жить, за то, что металась.

И за все, за все темное, что было во мне, за все неустойчивое, и — за детскость, за необоримую нелепую детскость мою. Есть такие *горбатые*, чудаки. Горбатого могила исправит.

Лицо так горит, так пылает... Но может быть — не из-за температуры высокой, и не из-за жары, не из-за духоты за окном. А от стыда. От стыда за то, что я не сумела, за целую жизнь не сумела — ни т а м, ни з д е с ь — жить, как люди, быть нормальным человеком.

Хоть бы я с ума сошла! Может, тогда мне бы легче было. Но и в этом мне отказано. Для того, чтобы сойти с ума, надо иметь ум. А у меня его никогда не было...

Но в конце концов, *уход* — это о с в о б о ж д е н и е ... От всего, от всего... Главное — от себя... И тогда — никому я не буду в тягость. И не будут меня поминать лихом. Будут — жалеть. А пока что... пока... только я сама жалею себя, только я!..

Мою волю не смутишь.
Я вольна себе помочь.
Вот она, какая тишь!
Вот она, какая ночь!

21

Говорю Вам: когда я имела возможность общаться с Вами, я щедрее относилась ко всем. Ну сколько раз мне повторять: общение с ними со всеми — с каждым, с каждой — было так многогранно, так пронизано светом!.. *Светом, который в тебе* и который вошел в меня и дал мне в нашем холодном мире, даже в самой что ни на есть его будничной неизбежной прозе, ощущение, что „поэзия — сущность каждой вещи”, — так, кажется, выразился Виктор Гюго...

И еще: Ваши письма почему-то „дарили” мне людей, расширяя рамки моего внутреннего и моего внешнего мира. Нити привязанности, нити доверия тянулись от меня и ко мне... Это видно было и по письмам, получаемым мною, и по встречам с людьми, с которыми еще вчера я была незнакома, — а сегодня так чудесно, так непостижимо, так — *сразу* протягивались от меня к ним и от них ко мне нити сердечности и добра.

Да, это было время интенсивной переписки со многими, время особенного биения мысли и чувств, время преображенной, вернее, каждый день и час преображаемой реальности.

Ах, какие письма я тогда получала — в ответ на добрые, светящиеся свои! Ответы — были такими же светящимися, и даже — еще щедрее, чем мои письма, — на каждое свое проявление света и добра я получала от своих корреспондентов — сторицей...

Конечно, во мне не погасла благодарность ко всем этим людям, нет, к счастью, до такой черноты, до такого опустошения я еще не дошла. Не благодарность погасла, а собственные мои душевные, духовные возможности, — вместе с исчезновением *родника*, — голоса Вашего, питавшего, оживлявшего меня.

На что я теперь гожусь?

И от веры, — хоть я и тогда еще не была полностью крепка в ней, а только ее предчувствовала, — я отдалилась. Да, да, я с ужасом осознаю наступающую, надвигающуюся на меня холодность в таких живых, таких насущных, таких трепетных вопросах — в вопросах веры... И какое страшное одиночество, — скрывай его от других или не скрывай, от себя-то не скроешь! — терзает меня сейчас!

Господи, Господи, неужели я доживу — досущест-

вую — до того, что окажусь полностью запертой в тюрьму безбожного, материалистического мира — мирка — с цинизмом осмеивающего все иные ценности, кроме плотских?

А может быть, и до того дойдет, что цинизм, столь ранящий и столь распространенный в мире, перестанет ранить меня, я к нему притерплюсь, покроюсь коростой, грех станет для меня „грешком“, а пошленькая подловатость перестанет приводить в отчаяние. И радоваться я тоже разучусь, подобно тем, кто хотел бы радоваться, да не может...

А ведь как был многоцветен мир, и как оно, это чувство радости, светившееся во мне, передавалось и близким моим! Какими удивительными глазами (вернее — удивленными глазами!) в этот творческий, плодоносный период моего бытия смотрел на мир Саша! Какой древней, и юной, и будто бы заново сотворенной видел он израильскую землю!

„Дорогие мои! — писал он в Москву моей матери и сестре. — Сегодня утром — восемь лет с того дня, как самолет из Вены опустил нас на землю Израиля. И — так же, как в тот день, — над всей землей этот удивительный аромат. Он проникает в комнату, едва откроешь окно, в автобус на ходу, на улицы, он над полями, рощами, он — везде. Его не опишешь, этот тонкий и пронзительный аромат, его только знаешь и ждешь весь год: это цветут апельсиновые деревья.

Весна в этом году чуть запоздала, тепло отстает, но апельсиновые рощи расцвели вовремя. Два дня назад были мы у своих друзей, живущих на окраине небольшого городка на северных, низких еще отрогах Кармеля. Даже не окраина — выселки, несколько домиков с садами, а второй стороны ули-

цы — нет, вместо нее — поле, а за ним, где-то внизу, между холмами, блестит на солнце море. А в поле!.. До жары, до суши осталось месяца полтора, и все спешит цвести. Травы по пояс — и уже колосятся. А на лугу смешались ромашки с маками, по обочинам дорог буйно, как бурьян, цветут дикие хризантемы, на пустырях они сливаются в сплошное желтое, кое-где пробитое огнем маков. Цветет клевер, выпустил петушки щавель, и тут же другие, другие цветы и травы — все в цвету, вся земля цветет. А над землей — деревья: белыми — апельсины, лимоны, грейпфруты, розовыми — миндаль и (чуть розовея) — абрикосы, и яблони цветут, и гранат.

Автобус идет меж садов, а у домов горят красным какие-то неназываемые деревья, на которых и листьев-то пока нет, а только огонь, все они в сплошном пожаре — у калиток, над крышами, у дорог. А рядом — белое. Деревья-невесты. А рядом — фиолетовое. Снова красное. Синее, белое. И оранжевое: нет-нет, и проезжаешь мимо дерева, на котором висят осенние еще апельсины, а вокруг, а на тех же ветках — белый цвет весны. И аромат этот... Воистину сад Божий...”

22

А сейчас... а сейчас... нагая, без Бога, земля? Нет, не может быть, не может! Я преувеличиваю или, как всю мою жизнь говорила мне моя мать, я все „гипертрофирую”. Уж в Сашу-то, — во всяком случае, надеюсь! — не вошла пустота.

А у меня... А я... так остро ощущаю свою малость, свое ничтожество, свою нелюбовь к окружающим и к самой себе. Да, да, и к самой себе — тоже. Темные волны, исходящие сейчас от меня, не

могут не угнетать Сашу, не могут не угнетать других людей.

Если лучше мне не станет, надо постараться прекратить общения, во всяком случае, частые, с внешним миром.

От себя-то, конечно, никуда не уйдешь. Наступающая на меня несвобода, боль нелюбви, дерзкое непослушание Творцу, давшему каждому из нас, в том числе и мне, особое, свое предназначение в этом мире, — все это будет приносить новые и новые горькие плоды и, быть может, совсем разорвет мою связь с более высокой реальностью, чем та, что окружает в быту, повседневно, отъединит меня от меня самой, то есть от самой живой, самой отзывчивой части моего „я“.

А может быть, все это — посланное мне испытание?.. И может быть, я сейчас стою хоть и на самом краю, но не перед падением в бездну, а перед новым взлетом, новым осознанием мира и себя, — более высоким, более светлым?..

Ведь наше внутреннее движение никогда не идет по прямой линии, путь души — извилистый, сложный... Взлеты и падения, падения и взлеты, и еще — повороты, повороты...

Но как мне быть сейчас, вот в этот миг? Ведь слишком важна, слишком ответственна, слишком грозна ослепительной своей новизной каждая минута нашего существования. То, что я делаю с собой сейчас (а может быть, и не только с собой, но и с другими) — тягчайший грех, и слава Богу, я хоть это сознаю, еще не притупилось чувство отчаяния, чувство вины.

Виновата ли я в том, что так жду Ваших... твоих писем?

И что это, наша встреча-невстреча: случайность,

судьба? И как — скажите! — как должна была бы я относиться к Вашему молчанию, чтобы состояние мое не омрачало людей, не огорчало Бога? Боюсь я, боюсь вызвать Его гнев своим отношением к Вам.

А что, если все это, поддерживавшее меня столько времени, ободрявшее, и дававшее силы любить людей, и к свету, и к самой себе идти, — что, если все это — лишь порочная иллюзия, темный обман, принявший вид светлой истины? Тогда... тогда я должна была бы постараться от мыслей о Вас избавиться навсегда, тогда, тогда... я должна была бы сказать: „Изыди, сатана!”

Я, я сама, я одна ответственна перед Богом за данные мне способности, за чувство слова, я ответственна за каждое слово свое (сказанное и не сказанное), и за каждую строчку свою, и за каждый разговор с собою и с людьми... Ох, я все это понимаю, понимаю. Но — какая боль! Нет, нет... Ведь не может быть, не может быть, чтобы свет, чтобы — Вы были тьмою...

Все полно светом прибывающим:
Проулок, дерево, стена.
В зеленых пятнах просыхающих —
Вся теневая сторона.

И входят свежие события
В мой дом, воздушный замок мой.
Всего живее чаепития
И споры жаркие — зимой, —

я писала это в те дни, когда Вы часто писали мне. А потом... потом Ваши письма стали приходиться реже. А потом — прекратились совсем. Видно, есть в

моей душе такое зло, и такой грех, и такая вина, что я наказана по заслугам. Мне бы только до конца понять, что я сделала...

Ответьте мне, ответьте! Не бойтесь разбудить *заснувшие бури!*

„О, бурь заснувших не буди,
Под ними хаос шевелится...”

— А что, если под ними — не хаос? — сказал мне как-то Саша. — Что, если огонь?..

Нет, не надо. Подождите. Зачем так говорить? Огонь? Нет, не надо... Эти слова... Впрочем, слова ли это? Нет... Какой-то вспыхнувший сноп... вихрь света. Ох... ярко. Больно глазам.

Огонь, говорит Саша?.. Не дай Бог его пробуждать. Во всяком случае, не дай Бог пробуждать такой огонь, который раздувает сильный порыв ветра, пронесшегося по пепелищу, где тлеющие головешки, вспыхнув, высветили, озарили на миг всю эту сушь, все выжженное пространство. Зачем мне... зачем нам это голодное пламя, это грозное, это пустопорожнее пожарище, когда языки огня, словно бы пожирая друг друга, — а не поддерживая, не поддерживая! — и стервенея, и задыхаясь в пустоте (каково сушью-то питаться!) — какое-то время еще упрямо лезут вверх, обдавая душным жаром давным-давно выжженную черную землю и обуглившиеся коряги, за которые лишь на миг — зацепиться огню, лишь на миг...

Пепелище на пепелище... И — нечем питаться огню, и некого греть, и незачем светить... Вот что могли бы сделать эти *разбуженные бури*, разворошив пепел, еще не остывший, раздув головешки, еще тлеющие...

А как наступит пепелище,
Тогда — сейчас —
Все пепелище скупит нищий,
Богач на час...

Когда я написала эти стихи? Читала ли их Вам, тебе? Не знаю, не помню.

И кто он, этот нищий: прохожий, чужой человек, неудачник, оборванец, босяк или — чей-то мятущийся дух? И чей он, этот дух? Мой?.. Или — Ваш?.. Или — ее, матери моей?.. Ну нет уж, никак не ее... Она, моя мать, слишком разумна для того, чтобы пепелище скупать — не думая его возделывать и не имея для этого возможностей никаких.

Пусто, тихо... Только след пожара
Теплой мглой по лебеде...
Тает след весеннего угара.
Где ты, милый? Где я, где?

Нет, нет, не Вы... Сашенька, Саша!.. С Сашей — мне устойчиво, с Сашей — мне надежно, с Сашей — спокойно.

Знаете ли Вы, что я была — и есть! — уверена даже и в безграничности Сашиных сил? Да, да... Я и теперь уверена... Он, Саша, может придавать реальности, порою такой призрачной, такой хаотичной, внутреннюю устойчивость, наполнять ее смыслом, защищать меня от той жизни, которая есть хаос.

Знаете ли Вы, что, когда папы моего не стало, я отказывалась поверить в это, во всяком случае, инстинктивно *откладывала* тесноту и непоправимость этого знания — до Сашиного приезда с дачи? Да, да, это было инстинктивно. Судорога, прошившая всю мою жизнь, скорчившая весь мой мир, должна была пройти...

Да, так о чем же я? О том, что Саша — верила я — может, может даже несчастье, реальное несчастье, что-то грозно-непоправимое — **отменить!**

Саша сумеет, — думала я, — убедить меня в том, что мой папа, такой человек, как мой папа — не может *уйти!* Ведь он — слишком для жизни. Для надежды. В нем слишком много духовного, душевного здоровья, молодой и зрелый расцвет сил. И Саша... Саша всегда любил моего папу. Именно за его безграничную, на всех, на все направленную доброту — любил! Не за то, что он ученый. Не за то, что он труженик. Не за то, что он доктор наук. Не за то, что у него никогда не было не только своей комнаты, но и своего письменного стола, — за его доброту Саша его любил, только за это...

Ничто, ничто не может у меня отнять веру в безграничность Сашиних возможностей. Сколько бы раз ни оказывалось иначе, я буду стремиться вперед и вперед, к его главному „я”, к тому взволнованному, вдохновенному состоянию его, в котором он может — сможет! — реальность, ту часть ее, которую составляет плоская повседневность, раздражающая мелочами, вот именно эту бытовую повседневность-реальность изменять, делать осмысленнее, добрее и даже, может быть, преобразать.

Такова была надежда моя в течение многих лет. Я и теперь надеюсь. Но ведь он, Саша, не может все это сделать сам, один, при непонятном внутреннем, порою враждебном противодействии моем!

23

Что со мной? Что со мной?..

В последнее время я начала убеждаться в скудости... да, да, именно в скудости своей души,

в ее аморфности, в ее неотзывчивости, в ее неспособности принять в себя свет и добро.

Конечно, это страшно, это невыносимо — признать себя — совсем! — душевно оскудевшей, но вот... я стою на пороге такого признания... нет, я уже перешагнула порог, я сказала сейчас об этом... одному человеку, сказала — Вам.

Возможно, Вы никогда не прочтете моего письма: я просто-напросто его не пошлю... И все-таки — как необходимо для меня это признание!.. Страх охватывает меня, когда думаю, как много во мне не любви, как много самолюбия и эгоизма, вернее — эгоцентризма.

Я ведь еще не сказала Вам: бывает со мной и такое, когда я их всех — и мать, и сестру, и бабушку (хотя бабушки уже нет у меня, ее не стало, как Вы знаете, после нашего отъезда) — когда я их всех не люблю. НЕ ЛЮБЛЮ! И мать не люблю, и сестру, и семью сестры. Не знаю, зачем я доверяю бумаге эту темную — себя. В той части *меня*, где я их *не люблю* — там все тьма и тьма, там нет места надежде, нет места состраданию, пониманию. Ох, какой лютый холод, будто бы снизу мне под ноги поддувает, из самой преисподней, ох, какая пустота, какой провал, какой пролом на месте любви, на том месте, где должна была бы быть моя любовь к ним! НЕ ЛЮБЛЮ! Вот видите? И не уговаривайте меня, что люблю. А впрочем... Вы ведь и не уговариваете меня. Ни строчки от Вас, ни одной строчки...

Не люблю я мать, не люблю!.. А за что мне любить ее? А она меня любит?..

А с сестрой, с моей единственной сестрой, хоть она и лучше меня, — ведь она за эти годы полностью пришла к вере, — с ней у меня и того хуже. Равнодушие у меня к ней, равнодушие! Я его,

равнодушные это, часто ощущаю, часто... Как говорится, с глаз долой — из сердца вон?.. Нет... И там, и там, в Москве, у меня к ней равнодушные бывало.

Ох, какой холод, какой лютый мороз проникает в меня! Но — не до бесчувствия, не до бесчувствия: еще болит тело, болит душа. Ломота, такая ломота... Больно!

Да... Так я вот о чем хотела спросить: ну, не люблю их — и не люблю. Так ведь мать... и все они теперь — наконец-то! — невероятно далеко, как только можно (и нельзя) себе представить. Никто меня не трогает, все меня оставили в покое.

Так отчего же мне так горько, так язвительно-горько, и такое порой едкое, неукротимое раздражение (впрочем, и в Саше — раздражение против меня, по-видимому — *такой* меня), — с трудом я сдерживаю это саднящее чувство, с трудом... Отчего такая мука на сердце?

Отчего?..

А почта сегодня — довольно рано: в начале одиннадцатого. Нам — ни одного письма. *Ни одного.* Только — счет за телефон.

Когда я говорю Саше, что отнюдь не радуюсь письмам *о т т у д а*, из Москвы, — до того они холодны, до того сдержанны, — Саша отвечает мне:

— А ведь я тоже не *радуюсь* письмам оттуда. Я только *тревожусь*, когда их долго нет. И письмо в ящике — это знак, только один знак, что там всё по-старому, то есть всё в порядке, все живы и здоровы, что — с их ли, с моей ли точки зрения (а если с моей — то все равно преломленной через их понимание), у них все благополучно. И я, наверное, впрочем, так же, как и ты, еще не вскрывая пись-

ма, мог бы написать его за твою маму, а вскрыв — сличить, а сличив — убедиться, что если не дословно (а иногда и почти дословно) оба письма совпадают по букве и по духу. И (слава Богу!) никаких неожиданностей. Чему же радоваться, когда они приходят, эти письма? Только тому, что они *приходят*: ведь и так может случиться, что они **в ы н у ж д е н ы** будут не приходить!

А почему пишу? Почему хочу, чтобы и ты писала? Да все потому же: они ждут, они волнуются.

Я, мысленно:

— „Волнуются”! Они — волнуются!

— ... Но они ждут от нас не просто новостей, а и новостей-успехов, потому что они любят нас (как и мы, как и я — их). Только у нас (с их точки зрения) еще могут быть новости, а у них — нет...

Мое желание писать им (и — больше: невозможность не писать), продолжает Саша, — зиждется не на интересе к ответам (интерес почти однозначен: получили ли они очередное наше письмо, дошло ли?), а на том абсолютном убеждении, что им нужны наши письма, что им нужны — мы. Потому что у них есть исчезающе малая, но не равная нулю надежда, что мы встретимся, встретимся здесь, пусть — когда-то, неизвестно — когда, что нить, как бы она ни была тонка, не порвана, потому что мы *здесь*, потому что *отсюда* приходят письма. А пока есть эти редкие, эти неполные, эти наполовину условные письма — мы для них существуем. Отними письма — и шевелящийся хаос поглотит все. Короче: цепочка писем от нас к ним и от них к нам — это жизнь (или, на худой конец, подобие жизни) ...

Я, мысленно, гневно:

— А я не хочу **п о д о б и я** жизни!

— ... отсутствие (полное) писем — это фактиче-

ская смерть нас для них и их для нас. Или — отсутствие существования. Хочешь ли ты отсутствия существования и х — для себя?

24

Вы знаете, я вот слушаю Сашу и думаю: а что, если бы моя мать любила меня так, как моя свекровь любит Сашу? Ведь она, Сашина мать, не могла без него, не могла, и — вот она здесь. Конечно, у Саши нет брата или сестры... У его матери нет еще одного сына (или дочери), которые бы оставались т а м. Вы скажете, что будь у нее еще один сын — или дочь — возможно, она решила бы иначе?.. Трудно сказать. Это зависело бы от ее отношения... от ее отношения к Саше.

Мне кажется, что будь ее отношение к Саше таким, как сейчас, то — даже если бы у нее была еще дюжина детей — она бы не усидела т а м, в Москве, она была бы з д е с ь! Да, да. Я могу сказать о Софье Марковне, моей свекрови, матери Саши, что она — пример любви истовой (или неистойвой) к сыну, безграничной. Хорошо ли это... для меня? Ее любовь к Саше, такая всепоглощающая и такая ревнивая!

Невестка, свекровь... Невестка, вынужденная всегда говорить „Вы”, звать по имени-отчеству, вместо — „ты”, мама...

Хорошо, конечно, и для нее, и для меня, что мы не вместе живем. Да, да... Поэтому, можно сказать, все совсем, почти совсем нормально. Несмотря на мой характер. Несмотря на ее характер. Несмотря на ее занятость Сашей. Несмотря на мой эгоцентризм.

Ох... И все-таки... Во время ее не слишком частых наездов я чувствую великую скованность, я будто

бы сама с собой в разлуке. И тем не менее... тем не менее... могло бы быть и хуже. Да, да, могло бы быть много хуже! Ведь при ее отношении к Саше она могла бы меня ненавидеть, а она меня (во всяком случае, в последнее время) не ненавидит.

Но Вы знаете, что сейчас, вот в этот миг, происходит со мной? Я говорю Вам все справедливое, может быть, но вот — одновременно с этими моими словами какой-то ропот во мне, горечь какая-то... Неужели все, что я заслужила, это от с у т с т в и е н е н а в и с т и? Мне ведь тоже нужна мать, всегда была нужна!

Знаете, я Вам скажу: Софья Марковна относится ко мне... как-то омраченно-взросло, чересчур взрослой и — чужой видит меня. Нет в моих отношениях с ней ни творческого порыва, ни внутренней свободы, ни оживления, ни простоты. Какая-то многолетняя — многовековая! — натянутасть. Может, моя вина... Ведь в ней, в Софье Марковне, много, много взрослой, зрелой молодости сохранилось. И — нерастраченных сил. Очень энергичная, жилистая, сухая. И голос у нее — активно-молодой, резкий, громкий.

В те дни, когда еще приходили письма от Вас, когда я еще умела (или, по крайней мере, пыталась) быть терпимее и добрее, я часто говорила себе: „Разве ты, Маша, пробовала когда-нибудь... не то чтобы пережить вместе с ней... но хотя бы понять, понять — ее мир, ее уклад, ее образ мыслей, ее чувства?“ — „Нет, — отвечала я самой себе, — нет, не пробовала“. Да, да... Я всегда, всегда была — в своих собственных глазах — „страдательной“ стороной: мол, тут не просто разница характеров, тут — разделение миров, тут — трещина легла сквозь всю землю, и задача ее, Софьи Марковны, здесь, на земле, — не просто давить, изводить заме-

чаниями и наставлениями, а вообще игнорировать меня и все мне присущее как несуществующее. Это — меня-то, это — *мое-то*, столь нуждающееся в ласке, в любви!

И там, в Москве, я, думая о Софье Марковне, жалела себя. И сейчас... сейчас, думая о ней, разве я не себя жалею? Я же ощущаю его, в глубине себя, все тот же ропот: дескать, без любви смотрит она на меня, без любви! И — без снисхождения. Ведь прощаем мы тех, кого любим! Более того: нам часто — и прощать нечего, мы либо не видим недостатков любимых своих, либо обращаем их в достоинства... И ведь как часто бывает: чем труднее ребенок, тем сильнее материнская любовь.

Софья Марковна... Это ведь — бунт во мне. Бунт — против нелюбви ко мне.

А ведь я — и не один раз за жизнь — бунтовала не только против нелюбви, но и против недостаточности любви, какой-то недолюбви, как, например, в отношениях с матерью, с бабушкой, с сестрой.

(Кстати, кроме того, что мне часто говорили в детстве, что я „мешаю”, малейшее проявление моей свободы — сковывали:

— Маша, не сиди на подоконнике: ты заслоняешь свет.

И это — не страх за меня, что свалюсь с высокого четвертого этажа вниз на камни, а — „свет заслоняю”!)

Да... И во взаимоотношениях с другими людьми, которые меня иногда даже (в отличие от Софьи Марковны) уважали, ценили, меня всегда — еще в юности — как-то замораживало холодное, спокойное уважение, — мне еще и любви надо было!

„Не заслоняй свет”... Все одна и та же фраза, через детство и юность, долгими годами...

И вот ведь что мне кажется: мои домашние, — а также, впрочем, и мои знакомые, — не могут меня любить (я всю жизнь — „свет заслоняю!“), а могут, в лучшем случае, как-то холодно-отстраненно, как-то вынужденно меня ценить, — то есть не меня, Машу Покровкину, а меня — Мару Никольскую...

Но и тогда, и раньше... когда не было еще Мары Никольской, а была только я — Маша, и тогда, казалось мне — с самого отрочества, с юности казалось, — что меня не за что, не за что любить, что только мой папа, Николай Леонтьевич Покровкин, меня любил, только он — хоть и не за что...

(В раннем детстве я как-то сказала матери, что ей, а не мне, *достался* мой папа: будь я старше, так я бы вышла за него замуж, а не она!..) И вообще всегда казалось мне: только он один любил меня, а больше никогда никто не будет любить... Таковы были страхи и предчувствия моей, заземленной аскетизмом, какой-то пуританской, пронизанной духовным голодом юности, молодости.

Как Вы думаете: неужели эти мои предчувствия, эти страхи должны всегда сбываться, всегда, всегда сбываются?..

... Исколол меня февраль,
Исколола встреча...

Софья Марковна... Быть может, ни она, ни я не виноваты в том, что она для меня — прямо как средоточие, как символ всей нелюбви ко мне со стороны вещной, плотской, материальной жизни. Что ж... очень может быть, что мои мятущиеся, не понимающие себя чувства — призрачны, а практическая деловитость Софьи Марковны — реальна.

В те дни — это было уже з д е с ь, уже после нашего с Сашей и Сережей выезда из СССР, — когда Вы давали еще о себе знать, когда письма Ваши еще приходили, я, как я уже говорила Вам, была и добрее, и щедрее. Вот что с человеком делает внутренний свет, вот что делал со мной свет, который в тебе! До того доходило даже, что я, греясь в Ваших лучах, винила во всем себя, а не Софью Марковну, я говорила самой себе: „Как же ты ни разу, никогда не подумала о ее тайной горечи?“ Софья Марковна... Да, я ни разу не подумала об э т о м, хотя и знала, что Саша — ее родина, ее Земля Обетованная, ее прибежище, что он — дыхание ее, единственная цель и единственный смысл всей ее жизни. Да как же так, мол, я упустила из виду, как не подумала ни разу именно о тайной горечи? Да разве такую невестку хотела она иметь? „Да может быть, — думала я, — самая ее сдержанность в обращении со мной, такая морозная, исполненная достоинства сдержанность (такой стала она, Софья Марковна, в течение последних лет) — результат усилий души, ежечасных, многолетних усилий? Да ведь, может быть, она втайне, скрытно от нас с Сашей, вырабатывала эту достойную сдержанность, — когда рвалось из сердца другое: ревность, одиночество, страх, страсть?.. И кто знает, ценой какого напряжения душевных сил давалось — и далось ей это... эта достойная сдержанность, это, я бы сказала, какое-то величавое смирение... Да, да... Именно смирение. Не перед людьми. Не перед одним каким-нибудь человеком... и не перед обстоятельствами: их-то она преодолевала, одолевала не раз... А перед чем-то иным, неотвратимым, как возраст, как уходящее время, как смена ночи и дня. Перед... судьбой? Перед непонятной для нее, но реальной, осязаемой, вещной в с т р е ч е й Саши со мной,

встречей, которая длится уже четверть века?..”

Вот как думала я о ней, находясь уже здесь, в Израиле, вот какой пыталась видеть ее, пока еще я не оскудела душевно, не съежилась, пока еще была ближе к Вам, к себе, ко всем людям. Словом, пока —

Мне снилась зима, до того молодая,
Что не было места унылым заботам...

А сейчас... сейчас...

... — Саша, была почта?

— Была. Только — счет за газ.

Счета, счета, счета. За газ, за электричество, за телефон, за квартиру, за воду...

... А мнилось, продолжу в ином измеренье
Свой опыт, намеченный в нашем, трехмерном...

И вот теперь... сейчас я думаю — горько и подавленно думаю о том, что вот счета приходят и будут приходить, а стихи — почти перестали, а Ваши письма — совсем перестали, и что все мои надежды призрачны, а права во всем Софья Марковна и все те, кто на нее, на Софью Марковну, похож.

Пусть так.

Даже если я больше никогда не напишу ни одной строчки, даже если больше ни разу не услышу и не увижу Вас (даже во сне!), все равно Софья Марковна для меня (как, впрочем, и я для нее) — инопланетянка, и мы с ней никогда друг друга не поймем.

Это было поразительно. Сон, опять сон. Но действие уже — здесь. До сих пор не могу опомниться, до того сон был реален.

... Так нем и так запретно-чист
Под утро сон...

Мы с Вами вдвоем сидели на краешке тахты, почти касаясь друг друга. Потом Вы осторожно протянули руку ко мне и, полуприкрыв глаза, с какой-то детской счастливой улыбкой сказали:

— Я не знаю, в какой мы стране и в каком мы времени...

И все повлажнело во мне, и засветилось, и я поняла, что должна Вам какую-нибудь память оставить о себе (ведь и во сне я чувствовала, что Вы уйдете, уйдете...), я должна дать Вам — ну хоть фотокарточку свою, чтобы Вы унесли ее с собой. У меня есть одна такая, красивая... Во всяком случае, во сне она казалась красивой. Я порывисто встала с тахты, открыла ящик письменного стола (ведь она там, там!), принялась рыться, искать... Ее не было, Как же так, — это я во сне думала, понимаете? — ведь еще вчера она была в ящичке письменного стола, я сама видела ее там... Нет, не нашла!..

Вы ушли без моей фотокарточки... Да, да, Вы ушли... Вы куда-то исчезли... А вскоре я проснулась, но в моих ушах все еще раздавался Ваш голос, негромко сказавший мне эти невозможные слова:

„Я не знаю, в какой мы стране и в каком мы времени...”

И я все утро — после пробуждения — была счастливой, почти счастливой, — будто бы эти сумасшедшие слова были сказаны Вами на самом деле.

Какая сейчас во мне немощь, какая неспособность, неподготовленность к подлинно творческой

и духовной жизни! Любая мелочь быта, любое горькое воспоминание, как отравы, разъедают меня. А ведь каждое мгновение могло бы быть светоносным, осмысленным, наполненным живым общением и с окружающим меня, и с внутренним моим миром. А я...

Вот что я в последнее время замечаю: я как бы мертвею, в меня проникает нечувствие... Да, да. Я со страхом ощущаю, что все чаще делаюсь бесчувственной ко всему вечному и в то же время пронзительно-личному: к жизни и смерти, к любви и нелюбви, к добру и злу. Даже боль из-за Вашего непонятого молчания — и та притупляется порою. Ссыхаюсь, черствую. И во мне перемежается дерзкая бесчувственность — с недоверчивостью к проявлениям добра, зерна которого рассеяны повсюду. Как все это страшно! И как много во мне больших и крохотных, мелких и существенных, всяческих, разнообразных страхов!

Т а м, в Москве, страхи мои были конкретными: страх перед обыском и арестом, перед лагерем, или тюрьмой, или психушкой, — в особенности — перед психушкой! А сейчас... а здесь... какие-то изошренные, какие-то многоплановые страхи.

Страх перед собственным неверием. Страх перед уединенным жилищем и страх перед шумным городом. Страх перед вниманием людей и страх перед их безразличием ко мне. Страх перед отсутствием Ваших писем и страх перед той полнотой внутренней жизни, которую они во мне пробуждают. Страх перед одиночеством и страх перед толпой. Страх перед возможными страданиями — физическими и душевными. Страх за самочувствие близких и страх за свое самочувствие. Страх перед врачами. Страх остаться без медицинской помощи. Страх

стать психически ненормальной и страх стать слишком нормальной. Страх перед наступающим со всех сторон тривиальным, стандартным мышлением в н е ш н е й жизни. Страх перед углублением в свое „я”. Страх перед стандартизацией, перед суетой, перед иллюзорностью развлечений и увеселений. Страх перед скукой. Страх перед тайной глубиной каждого человеческого „я”, и своего — тоже. Страх лишиться этой глубины и страх неожиданно ее обрести в общении с другими. Страх перед радостью: ведь она мимолетна, ее слишком легко лишиться. Страх перед прошлым: оно постоянно вторгается в жизнь. Страх перед будущим: оно неизвестно. Страх перед любовью и страх перед нелюбовью. Страх перед Словом и страх перед немотой, которая может постигнуть меня. Страх перед жизнью. Страх перед смертью. Страх перед грехом. Страх перед праведностью. Страх перед чувственностью, страх перед аскетизмом. Страх перед своей мягкостью. Страх перед своей черствостью. Страх перед своей доверчивостью. Страх перед своей подозрительностью и — страх перед „золотой серединой”. Страх перед старостью. Страх перед избытком молодости (в мои-то годы!). Страх перед практичностью и прагматизмом. Страх перед житейской неприспособленностью. Страх быть непонятой и страх быть понятой слишком глубоко, слишком полно. Страх перед горением и страх перед прозябанием. Страх перед исповедью (даже — частицей ее!) и страх перед молчанием. И наконец, страх перед всевозможными внутренними и внешними страхами, страхами, которым несть числа.

Я вся, вся состою из страхов. Куда деваться? Как из всего этого выбраться? Как спастись?..

Меня, как бы выросшую под стеклом, всю свою жизнь прожившую в своем внутреннем мире, „мечтательницу”, как говорил мой отец, меня — стареющую девочку, привыкшую к тишине и тесноте крохотной московской квартирki, к узкому кругу друзей, — Ирина Петровна Введенская, моя мать, человек разумный и трезвый, отпустила в абсолютно реальный, тревожный, многоязычный, всем ветрам и свободам открытый мир, — который каким-то чудом не раздавил меня, не оказался ко мне безжалостным.

Слава Богу, Ваши руки поддержали меня, долго, терпеливо поддерживали, — ведь я шла как бы ощупью, как бы спотыкаясь, а Вы — Вы оказывались рядом, Вы не давали мне упасть.

Вы взывали к моему мужеству, к чувству собственного достоинства, к осознанию мною своего назначения.

Вы проявляли интерес к моей работе и радовались, когда она получалась.

Вы были бережны со мной и деликатны — то ли как со своим ребенком (не проявляя при этом снисходительности взрослого, общаясь со мной абсолютно „на равных”), то ли — как со своим поэтом.

С благодарностью я принимала Ваши дары и боялась, боялась их потерять.

„Кто чего боится, то с тем и случится”... Вы теперь ведь молчите. Вы позабыли обо мне.

Но в чем моя вина, в чем я изменилась по сравнению с тем временем, когда я была Вам близка и нужна? Ох... Если бы хоть это понять! Если бы — хоть это!..

Пустыня, пустыня. Нет ни одного звонка в дверь — разве что к сыну кто-нибудь зайдет, — нет ни одного звонка по телефону — разве что сыну кто-нибудь позвонит. Нет ни одного письма, только отчеты из банка, только счета за электричество, за газ...

Как это... — помните? — у Заболоцкого:

„И кричит душа моя от боли,
И молчит мой черный телефон”.

Ох, как мне холодно, как мне тяжело, как скучно без Вас! Как необходимо для меня — письмо получить, письмо, обращенное ко мне, к Маше, чуткое такое письмо, как бы навеянное мною, мною — той, какой была я для Вас раньше!

Это — не тщеславие мое (потребность в таком письме), не честолюбие говорит, нет... Это — какая-то лучшая, еще уцелевшая часть меня. Зачем же и для кого мне жить, если не для Саши, не для Сережи, не для Вас?

И вот... кажется мне... что я и Саше, и Сергею не нужна, — во всяком случае, т а к а я, как я есть... И Вам не нужна.

Очень может быть, что эти мысли пришли ко мне из моей внутренней тьмы, которую я прямо-таки физически ощущаю (как иной раз ощущаешь идущий от человека свет). Мысли эти — недобрые, враждебные, самой природе...

Я опять вдруг подумала... я подумала о том, что ведь можно... что ведь я могу уйти из этой жизни. Тогда, по крайней мере, от всяких страхов избавлюсь, никого не буду омрачать, не буду сама омрачаться. Мысли эти пришли вместе с пониманием всей тяжести моей вины за то, что они пришли ко мне, вот такие мысли.

И вот... Саша поехал на съемки фильма, Сережа поехал на базу в Тель-Авив (он там в армии служит), а я... а я... написала стихотворение, посвятила его Саше. И — Вам.

Мотивчик-то давно звучал во мне:

Часы стучат, часы бегут...

Я ведь уже говорила Вам, как громко начинают стучать часы, когда я дома одна. И вот, мотивчик этот собрался во что-то...

Уж полдень. Я еще дышу,
Я горблюсь над страницей.
Хоть эти строчки допишу,
Ведь время есть — проститься!

А в самом деле: к кому я обращаюсь сейчас?
К Вам?.. К Саше?.. К вам обоим?..

И будет вечер надо мной,
Томительный, последний.
Потянет сыростью ночной,
Ты снимешь плащ в передней...

Ты в эту комнату войдешь,
Ко мне протянешь руки...
Любимый, как переживешь
Бессмысленность разлуки?

Часы стучат, часы бегут,
Уходят прочь минуты.
А я — во власти тех минут,
Где исповедь, где смута...

Конечно, уход, безвозвратность — это все так, фантазии. Правда заключается только в том, что я и в самом деле —

... Во власти тех минут,
Где исповедь, где смута...

27

Знаете, что я делаю по ночам, когда Саша и Сережа спят? Я всё письма пишу. Только я боюсь Сашу и Сережу разбудить, я не зажигаю света, я без бумаги, без карандаша пишу. Кому? Разным людям... Пишу их — мысленно... Пишу — Вам... Пишу — тем, кто когда-то писал мне. Порой помню их, эти письма, после бессонной ночи — от слова до слова. Я и сама не пойму толком, кому они, эти лихорадочные и в то же время такие ясные строчки. Может быть... да, может быть... что все они — Вам...

А может быть, я все это пишу — самой себе?.. Но и тебе... но и Вам — тоже, тоже... Пишу Вам то, чего никогда не посылаю — не посылала Вам по почте.

Мы с тобою счет забудем
Снам веселым, снам печальным.
Мы не пишем близким людям,
Ах, мы пишем только дальним!

Где-то в прошлом, на изломе,
Плачут юность и беспечность.
Мы с тобою в новом доме,
По дороге в бесконечность.

Иногда мне даже как-то неловко читать эти непосланные письма вслух, читать Саше, — мне кажется, он скажет, что в них слишком много восторженности, слишком много преувеличения, что они никак не вытекают из действительных отношений с данными людьми.

И все равно, утром я восстанавливаю ночную ли-

хорадочную память, строчку за строчкой. Да, я исписываю лист за листом, — лишь для того, чтобы они томились, пылились у нас в столе, эти непосланные, эти ненужные письма.

Почему они обречены томиться, почему не посылаю их? Потому что они, эти письма, написанные без бумаги моим ночным бодрствующим мозгом, моим ночным смятением, а порою — моей живой тишиной, восстановленные потом, на листе, в жестком свете дня, становятся беззащитно-открытыми и часто (прав Саша!) — не к тем людям оказываются адресованными, не к тем...

И только ей, моей матери, я пишу замкнуто, скупое, сухо, и так же сухо, с запертой душой, я иду потом с Сашей на почту, чтобы опустить в почтовый ящик эти отписки, эти размытые и вялые, и попросту — никакие и ни о чем приписки к Сашиному письму, — да, стертые, безликие, безвозрастные и безжизненные приписки, которые появляются в конце Сашиного письма, после его подписи, которые я вымучиваю только под его, Сашиным, нажимом.

Если бы не Саша, получила ли бы моя мать за эти восемь лет хотя бы одно письмо от меня, точнее — хоть одну приписку? Думаю, что нет... Да, да, я почти уверена, что нет... Так что он, Саша, прав, он абсолютно прав, он справедлив по отношению к ней и ко мне, заставляя меня приписывать хоть что-нибудь к его письмам.

Прав?.. А впрочем... А впрочем — кто знает!.. Так ли уж нужна эта видимость общения, эта упрямая и унылая видимость, — именно потому и унылая, что нет в ней прорыва в искренность, пусть хотя бы и ожесточенную... потому и упрямая, что не предвидится обрыва в молчание — абсолютное?

„Мама”... Как давно я не говорила вслух: „Мама”... Я ведь от этого слова отвыкла. Ах, какое сладостно-щемящее слово! „Ма-ма”... Я как будто осязаю звучание его, я его глажу руками, мне хочется прильнуть к нему телом, к этому слову: „мама”...

Почему я не ощущала там, в Москве, как сладостно — говорить по-русски, и думать по-русски, и слушать по-русски, и осязать, и обонять, и впитывать?..

„Мама”... Да я будто бы праздную свидание с родным языком, хотя никто в эти послеотъездные годы меня его не лишал, никто... И все же — будто бы вынужденная, будто бы насильственная немота была, кляп невидимый. Только теперь, только теперь я начинаю понемногу... Как это у Мандельштама? „Выпрямительный вздох”... Ах, как сладостно вздохнуть, вдохнуть: ма-ма!..

Да, так я... Я хотела... Те, непохожие на мои сдержанные, порой деловые, дневные, — те, мои ночные, мои живые письма! Потому-то и стыжусь их, что в них больше м е н я, чем это надобно знакомому, а иногда и малознакомому человеку...

Хотя... Пожалуй, и насчет м е н я сомнения есть. Какой-то части м е н я в этих безрассудных строчках, набормотанных ночью в тишину, в темноту и восстановленных утром на листе, по живой памяти — слишком много, а какой-то части м е н я и не достаёт... Высвечена я в них, при всей безудержности какого-нибудь главного, движущего мной чувства, как-то однобоко...

Да и это бы не порок: ведь — письмо! Всего лишь письмо! — да вот обнажено оно, это главное, скон-

центрированное в немногих словах чувство, как-то уж чересчур не защищено, чересчур откровенно, без меры. И порою (ох, как часто!) *не к тому, не к той, не к тем* обращено! Ведь и гордость должна же быть, наконец. Да зачем же так, перед малознакомыми людьми выплескивать, высвечивать себя?

Да... Так что письма эти я не посылаю. Посылать — не хочу, но для тебя... для Вас я их сейчас, вот здесь, перепишу.

А может, эти письма — не содержанием своим, а заключенным в них биением — все до одного! — обращены к тебе?..

А может, они именно *В а ш и*, и именно поэтому я их и посылать не хочу?

Не знаю... Я только надеюсь, что, может быть, ты... что, может быть, Вы когда-нибудь прочтете эти письма (переписываю их здесь), потому что все они, все они — так или иначе — как-то необъяснимо связаны с Вами.

Может, ты ответишь, может, скажешь мне по поводу этих непосланных писем — что-нибудь...

Эти письма — это всё мои ночные бессонницы, это — утреннее бодрствование после крепчайшего чая. Это... Это... Впрочем... Сейчас...

Если конкретно говорить, то каждое или почти каждое из этих неотправленных писем имеет для появления своего на свет какой-нибудь повод.

Вот, например, был такой случай: мы с Сашей получили письмо из Дании. И кассеты. Магнитофонные кассеты. Незнакомый нам голос читает стихи. Стихи русских поэтов. Разные стихи. И мои — тоже. Вы можете представить себе, с каким волнением слушали мы с Сашей эту запись, этот донесшийся из такого далека чистый... да, чистый звук. Из Дании! Голос на кассетах, и голос в письме.

В письме он пишет, что он безработный, что сти-

хи мало кому вокруг него нужны, но что он ощущает неприменную потребность в стихах — для себя, для самого себя, что они нужны ему лично. Ему — и некоторым его друзьям. Ему — и многим, многим из тех, кто — *по ту сторону*, там, в Москве, например. Там!..

В самом деле, он прав... наверное, он прав. Кому-то опальные стихи нужны, всегда были нужны. Россия читала — читает — их в списках, а в наше время, кроме того, слушает и на магнитофонных кассетах.

Вот оно, мое письмо к этому Ивану Драге, — так набормотала мне письмо тревога моя, ночная бессонница моя, утреннее возбуждение мое:

Дорогой, именно дорогой Иван Драга!

Вчера получила поистине новогодний и рождественский дар — Ваше письмо и кассеты, на которых, после того как я закончила читать письмо, опять зазвучал Ваш голос.

И радостно мне было, и больно, — но и боль была какая-то живительная, — что из такого далека, из Дании, вдруг пробилась ко мне Россия, подошла вплотную, захлестнула и — продолжает накатывать, стоит только клавишу магнитофонную нажать...

И радостно, и больно оттого, что мои опальные, запретные, — раньше, чем они появились на свет, всегда — при моей жизни и, конечно, еще до моего рождения — запретные, томившиеся дома, в единственном экземпляре стихи (я их и дома-то порой боялась держать, не то что в Самиздате распространять!), вдруг вернулись ко мне на Вашей кассете, согретые теплом человеческого голоса, ободренные его сочувствием, его пониманием, его причастностью. В самом деле, теперь стихи „оттаяли”, ушел страх и подбиравшееся удушье: теперь их можно не

сдавленным шепотом читать, а в полную силу, в полный вздох. И слушать. Вот хотя бы — сейчас. В Вашем исполнении. На Вашей кассете.

Уже восемь лет прошло с тех пор, как я с мужем и сыном выехала из СССР, а все еще порою мне не верится, что можно, можно! — говорить вслух то, что думаешь, можно — писать, можно — распространять, и что проблема, в сущности, теперь в другом: слушают ли нас? Слышат ли нас?..

Знаете, дорогой Иван, у меня даже вдруг появилась дикая мысль, что Вы именно ради стихов (!) бежали из СССР, *ради стихов* переплыли море в шторм на байдарке, *ради стихов* оказались в Дании, — чтобы быть не т а м, где стихи душат, а поэтов — сажают, а з д е с ь, *по эту сторону*, где и мы, где сегодня — многие из нас, насильственно или по своей воле оказавшиеся за пределами СССР.

И вот, Вы з д е с ь, — чтобы иметь возможность действовать о т с ю д а, чтобы иметь возможность засылать на кассетах стихи т у д а, за кордон. Т а м они многим нужны.

Вы — з д е с ь — *ради стихов!* Конечно, я понимаю, что мое предположение очень наивно, — у Вас, наверное, множество других причин, по которым Вы не могли, не хотели находиться т а м, — и все-таки эта наивная моя мысль меня радует, ободряет. Вы ведь кассеты свои — не только мне послали. Вы — в разные страны послали. И т у д а... т у д а... голос Ваш тоже надеется пробиться! Перелететь!

...Братья-лебеди, летите...

Мне сейчас кажется, будто Вы — мой брат.

Спасибо Вам! Спасибо! Для меня — большая поддержка и оправдание мое, внутреннее, выезда из

СССР — если стихи мои, равно как и стихи других не печатающихся в СССР поэтов, будут попадать туда и находить там своего читателя.

Очень Вас прошу: продолжайте! начитывайте чаще на магнитофон и по возможности чаще высылайте в СССР (в Россию!) мои стихи и стихи других, не признанных сов. режимом поэтов. Спасибо Вам, спасибо Вам большое за Вашу любовь к русской поэзии, за Вашу убежденность, что стихи, не нужные сов. власти, нужны России.

С глубоким уважением, и благодарностью Вам, и с надеждой, что *и стихи* могут помочь грядущему возрождению России

Ваша Мара Никольская

Вот такое письмо... Результат моих ночных бессонниц и утренних возбужденных мыслей моих. У тебя... у Вас ведь тоже, наверное, так бывает: встанешь после бессонницы — словно бы после ходьбы по бодрящему воздуху, словно бы после глотков крепчайшего чая...

Но я — не о том, не о том. Я — о самом письме, и — о других, о других непосланных письмах моих!

А что касается этого письма, к Драге, то... Откуда они, эти рвущиеся из сердца, эти стыдящиеся малейшего своего порыва строчки? В общем-то... вполне естественно, что мне от этих строчек неловко, и посылать их не хочется. Ведь при всей искренности, все письмо к Драге, мне кажется, каким-то напыщенным получилось. Боюсь даже, что „на котурнах”. И эта неуместная восторженность!

Может быть, виной всему — усталость, нервы. Ведь я же не лишилась еще чувства слова, не потеряла вкуса к нему?

Ах, как бы я хотела знать, что ты обо всем этом

думаешь! И как я боюсь, что не будет ответа от тебя, — никакого ответа, никакого...

А вот еще — другое неотправленное письмо. Вот, посмотрите, послушайте... Вот что выработала моя вчерашняя бессонница. Какая нелепость! И ведь это — в ответ на письмо почти незнакомой женщины, которую я видела, кажется, не больше одного раза. Она мне прислала письмо, начинающееся сдержанным обращением: „Здравствуйте, Мара!” Пишет она, что недавно приехали ее рижские друзья, которые долго были в отказе, и что теперь ей придется к ним заново привыкать после двухлетней разлуки: какие-то связи уже утеряны. После *двухлетней разлуки*. А я — мы — не видели мою мать, сестру, семью сестры уже восемь, в о с е м ь лет.

Ровно столько же лет Саша пробыл в сталинских лагерях по 58 статье (антисоветская агитация, организация). Арестован он был уже после фронта, после тяжелых ранений и госпиталей. И ссылка у него должна была быть — в е ч н а я. Вот и у нас — с матерью, с сестрой — такая же: вечная ссылка в разлуку.

Сашина вечная ссылка, слава Богу, оказалась четырехлетней. Реабилитация. Возвращение с севера. Москва. Встреча со мной.

Господи, подумать только! Когда он впервые увидел меня, мне было восемнадцать лет, — на год меньше, чем сейчас нашему сыну...

Ссылка в разлуку.

Мне порою кажется, что от самого сознания, что это — н а в е ч н о, душа черствеет. Душа как бы одевается в броню (инстинкт самосохранения?.. А ведь вообще-то у меня плоховато с ним, с этим инстинктом). Но как бы то ни было: душа одевается в броню и старается оттолкнуть от себя все

мамино, московское, все, мамино, опенковское. Зачем понапрасну ко всему этому — *теперь* — п р и р у ч а т ь с я? — это выражение, помните? — есть у Экзюпери.

Так что я... так что я совсем даже и не так уж тоскую по ним — по матери, по сестре. Как и они — по мне.

Меня удивляет только, что кому-то, например, этой малознакомой женщине, этой Ане из Хайфы, этой Ане из Риги — двухлетняя разлука показалась слишком долгой, надо — заново привыкать, привести прошлые душевные связи в соответствие с новыми условиями, а это — процесс болезненный. Да, да, она так и пишет: „Нам как будто надо заново знакомиться, несмотря на двадцатилетнюю дружбу в прошлом”.

И это — всего через два года!

Но понимаете... когда я прочитала ее, Анино, письмо, на меня нахлынуло что-то, что-то очень близкое мне, но, по сути, никогда мною не высказываемое...

И вот я наборматовывала ночью, во время бессонницы, а утром записывала то, что мне диктовала моя свежая память: письмо... Письмо, которое я никогда ей не отправлю:

Аночка, родная! Милая! Здравствуй!

После твоего приезда к нам я все думала о тебе, а тут и письмо твое получила.

Ты пишешь о своих рижских друзьях, о том, что надо заново обретать друг друга после разлуки. Это, конечно, трудно очень, но и радостно. Помнишь, у Заболоцкого:

„Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь...”

Анка! Если бы я следовала этому его совету, моя жизнь была бы иной. Ведь из-за лени, апатии, подавленности я перестаю „идти к себе”, к познанию — душевного, духовного — своего „я”, и — в этом горькая непреложность! — одновременно теряю трепетность восприятия других, близких людей. Притупляется отзывчивость, гаснет интерес к личности другого (других), уходит душевное тепло.

Только — постоянное внутреннее усилие! Иногда я, прорывами, с какой-то мучительной, щемящей радостью, с остротой чувствую, что еще не поздно...

Ведь, объективно говоря, мы еще молоды, до смешного молоды (несмотря на то, что наши дети уже в армии). Нам ведь с тобой ничего не стоит рассмеяться или заплакать, — а значит, это еще молодость.

Конечно, у мужчин все иначе. Они, наши сегодняшние ровесники, и через десять, и через пятнадцать лет молоды будут. Только несчастные женщины ревниво считают свои уходящие годы, свои первые седые волосы, морщинки возле глаз. Видят свои выгорающие глаза, свою отцветающую, блекнущую кожу.

Правда, я видела как-то недавно женщину, очень старую, очень морщинистую, но с глазами ярко-влажно-синими, вернее, сине-лиловыми, глубокими, свежими. Мне все хотелось ей сказать: „У вас не глаза — фиалки”. Но я постеснялась.

Уходящие годы, отцветающая кожа...

Господи! Ко всем пыткам женщины — еще и эта... Медленно, в душевных мучениях, отгорать и при этом всем своим естеством противиться — чуть ли не до конца, не принимать старости!

Не знаю, Аночка, почему я тебе об этом говорю. Может быть, потому, что в памяти, в сердце — отзывается твой приезд к нам, твое письмо. Ведь в

письме ты пишешь о нашей встрече, которая „рас- тормозила” тебя, несмотря на твой „солидный возраст”, — хотя, мне кажется, ты не совсем права, наш с тобой возраст не такой уж „солидный”. Пишешь ты и о приехавших друзьях, и о том, что едва ли сможешь заново им понравиться — так „за последние два года постарела”.

Мне кажется, Аночка, что ты не права. Мне кажется, что женщины нашего с тобой возраста, если уж и не могут мимолетно нравиться, то их еще можно всерьез полюбить.

Аночка!.. Скажи мне: кто я такая? Что я такое? Мятущаяся душа?.. Почему тебе было интересно со мной, почему захотелось прислать письмо?

Понимаешь... Есть во мне, есть во мне, несмотря на любовь Саши ко мне, несмотря на мою любовь — к нему... есть во мне не только беспокойное, но и темное что-то. Ты спросишь, в чем оно, это темное, проявляется? В нелюбви... В какой-то душевной недостаточности — ведь я чувствую, что понемногу ссыхаюсь, черствую. Да, да, в душевной недостаточности и в недостаточности простой житейской заботы о близких — проявляется моя черствость, моя... Словом, н е л ю б о в ь. В каком-то обширном смысле. Вот что пытается меня! Вот в чем моя вина!

А еще вина моя — в сумасшедшей, запретной мысли о любви к кому-нибудь еще, кроме Саши, одновременно — с Сашей (чтобы — в сердце своем двоих любить, — может быть, даже и виду не показывая, даже разумом, даже — самой себе, а не только е м у в этом не признаваясь).

Да, да, мысль о какой-то иной земной любви, а еще (не менее запретная мысль!) — о любви к Богу, любви религиозной...

Иногда я как-то немислимо-пронзенно, до болез-

ненности, а иногда — с ощущением полноты духовного здоровья, как-то особенно, религиозно люблю природу, люблю — до сжатия сердца, до слез на глазах. Если б... если б я так же любила людей, всех людей!..

Меня ужасает мой эгоизм (я — не об эгоизме житейском: всегда могла, могу последним куском хлеба поделиться, отдать единственное приличное платье, оставив себе обноски, тряпье, и не только — без сожаления, но даже и не заметив этого, не заметив!), я — о другом эгоизме, эгоизме своего „я”, которое т а м, в Москве, всю мою жизнь было под спудом, под прессом. Этот эгоизм, вернее — эгоцентризм — результат всей моей прошлой жизни т а м, мучительного становления т а м, инстинктивного желания духовно уцелеть, несмотря на все выравнивающий, все асфальтирующий каток той реальности.

Люблю Сашу, люблю. Я — дитя его, я — его весна, ему возвращенная (то есть была ею когда-то, теперь то я — промозглая осень). Я — дитя его, а он... он, по-своему, мой сын, мой сыночек. Ведь взрослые мужчины во многом — всё те же мальчишки.

Приезжай, родная, чтобы я могла выплакаться у тебя на плече. Чтобы можно было помолчать вместе. Приезжай!

Жду весточки твоей. Жду твоего звонка, твоего приезда.

И зови меня — Маша. Ведь Мара — мой псевдоним.

Целую тебя крепко-крепко.

Твоя М.

Разумеется, я это письмо не пошлю, ни за что не пошлю. Могу ли я — скажите! — посылать такое письмо малознакомой женщине?

И все-таки письмо это я написала не зря. Если Вы с этим письмом познакомитесь, — а ведь писалось оно искренне, без обдумывания, как, впрочем, я и Вам пишу! — тогда Вы, наверное, сможете мне — меня объяснить.

Почему я тебя... Почему я Вас об этом прошу?.. Потому что... только Вы, Вы один и можете мне — меня объяснить. А не я сама, никак не я...

Мне это необходимо, поймите, крайне необходимо, чтобы Вы мне — меня объяснили, мне — меня рассказали. Потому что, если я в неведении, *без Вашего взгляда на меня* останусь, то могу и в детство впасть. Настолько я в потемках блуждаю, настолько, что впору бы к материнским коленям прижаться зареванным лицом.

„Жизнь распахнулась, но все же...
Ах, золотые деньки:
Как далеки они, Боже!
Господи, как далеки!”

Цветаева... Осень... Таруса...

„Жизнь распахнулась, но все же”...

Но все же — как некстати распахнулась она, моя душа, или — частица моей души... На этот раз — перед Сашиной двоюродной сестрой.

Простите, что я о письмах продолжаю. Вы не сердитесь на меня. Вы — выслушайте меня. Хорошо?.. Понимаете, письмо от Сашиной сестры пришло недавно. Шло оно очень долго. Еще в Москве снег лежал, когда она писала это письмо. Хорошее письмо. Но — дело не в том, не в том дело. Просто — не было в ее письме импульса для т а к о г о моего ответа, который ты сейчас... или — когда-нибудь прочтешь.

Может быть, ее письмо и лучше моего ответа. И

уж одним тем лучше, что сдержаннее, больше соответствует отношениям. Потому что — хоть мы и знакомы много лет и я ее еще с ее детства помню, — ведь она много моложе меня, — но ведь никогда не было в наших отношениях чего-то... чего-то такого, что просилось бы излиться в подобном моем письме! Знаете, я его и на бумагу-то не хотела заносить. Не то что посылать! Но ведь писала-то я искренне, искренне. Вот отчего мне жаль листок разорвать. Вы — выслушайте сначала. А потом мы вместе посмеемся... Надо мной посмеемся, над моей восторженной дурью.

И вот ведь что: с тех пор, как пришло ее, Олино, письмо — из Москвы, из Останкина, — я ведь так помню Останкино, Сашино Останкино, в котором он вырос, которое у него было еще задолго до встречи со мной, — с тех пор, как пришло Олино письмецо, я все думаю, думаю — об Останкине... о ней...

И не то чтобы я придумывала ее, Олю: для этого я слишком ясно ее перед собой вижу, слишком хорошо помню. Нет, дело не в этом... А может быть, все нахлынувшее на меня — из-за того, что вложила она в конверт открыточку с московским двориком и с белым, белым снегом...

Белые, белые сны...

Странно: я ловлю себя на том, что мне как-то неловко переписывать свой ответ Ольге. Даже — для Вас. И отказаться от него не вмоготу.

Что же так мучает и так радует меня в этом письме? Что? Иллюзии? Девочка Оля, когда-то приходившая к нам с Сашей в Москве, в нашу старую коммунальную квартиру — девочка с мольбертом, со сжатыми губами, с вопросительным взглядом, самолюбивым лицом? Или — память моей собственной юности? Радует — и ранит... Что именно?

Оленька, родная!

Сегодня пришло твое — такое рождественское! — письмо с таким знакомым, заснеженным московским двориком...

Свет — всегда вызывает свет, хочется сразу написать тебе. А еще лучше бы — обнять, прижать к сердцу мою дорогую, мудрую, светлую девочку-женщину. Родного человека.

Продолжаю это письмо — вам обоим. Ведь ты, Оленька, оба имени подписала в конце письма. Тебе — и мужу твоему пишу, хоть и не видела его ни разу. Ведь ты вышла замуж уже после нашего отъезда...

Дорогая моя Оленька, дорогой Дима!

Для меня очень дорого, наполнено каким-то светлым значением и смыслом то, что вы оба — верующие люди. Когда приходишь к этому самостоятельно, в сознательном возрасте и — всем своим существом, тогда, наверное, душа

„Святым огнем любви согрета
Оживлена, оживлена...”

Родные мои люди, звезду, встающую на небе Вифлеема, можно, должно быть, увидеть, стоя и в заснеженном московском дворике. Дело ведь не только в зрении физическом... телесном...

И все-таки — согласитесь! — не пустяк и то, что можно, м о ж н о! — поехать в Вифлеем, поехать в Назарет... И на Генисаретское озеро... И на Фавор... И на гору Блаженств, откуда прозвучала Нагорная проповедь... И в Иерусалим, на Масличную гору, в Гефсиманский сад, в церковь святой Марии Магдалины... И в храм Гроба Господня...

И ведь для всего этого — если живешь з д е с ь

— только небольшое усилие нужно, только верность себе самому (а значит, и близким!..).

Увы, как далеко я часто оказываюсь от своей собственной душевной, духовной сущности, как инертна, ленива, заторможена, как неотзывчива к родным душам, не говоря уже о далеких...

Иногда бывают просветы: я с какой-то острой, щемящей радостью чувствую, что еще не поздно. Твое письмо, Оленька, ваш теплый привет, мои дорогие, — подтверждение тому. Светлое сегодня утро, светлый знак (и призыв!) — весточка ваша!

Крепко целую вас и ваших родителей.

Ваша Маша

Саша и Сережка тоже крепко целуют вас и ваших близких. Пишите нам!..

От всего сердца поздравляю вас с недавно прошедшим праздником.

Оленька, я ведь тебя помню, когда ты еще девочкой была. Но мне кажется, ты сохранила, всегда сохранишь свою, Аленкину, — ведь тебя в детстве иногда Аленкой звали, — свою девичью, Аленкину свежесть, колкость, снежность, молодой морозец, запах елки, Рождества...

Оленька-Аленушка и Дима, пишите нам, пишите!!!

Ну вот... Переписала для Вас свое письмо. Никогда его не пошлю. Лучше — я к Сашину письму сделаю приписочку. Да... Уж лучше пусть Саша сам пишет ей, им... Ведь как-никак — Олин отец — дядя Саши, и он, дядя, недавно... то есть не он, а его жена, — он не может писать сейчас сам, очень правая рука дрожит... — жена его прислала Саше, нам, письмо. За несколько дней до письма Ольги. Так что — нельзя ведь только Оле с Димой отвечать, а Сашину дяде и его жене — родителям Олиным, всегда

ко мне хорошо относившимся, ни слова! Никак нельзя, никак. И ведь — вместе живут! И конечно же, вероятнее всего, что мое письмо — если бы послала! — пришло бы утром или днем, когда Оля с Димой на работе, а дома только Сашин дядя. Ну, и тетя, мать Олина. Ведь она тоже уже на пенсии.

Но почему-то, с какой-то горькой неловкостью, со стыдом, — будто и в самом деле послала письмо, — вижу, как именно дядя достает из почтового ящика конверт, как трясущимися, непослушными, какими-то чужими из-за болезни руками, вскрывает конверт...

Ох, нелепость, нелепость!

И ведь дядин сын — двоюродный брат Саши со своей семьей — здесь, здесь... А в моем письме — ни словечка ни о сыне, ни о его семье, хотя малышу-внуку уже пятый год пошел, хотя он, дед, он, Сашин дядя, ни разу в жизни своего единственного внука и не видел...

И так я себя корю, и так успокоиться не могу, будто и в самом деле письмо свое послала. Будто — собираюсь послать... Знаю, знаю, что это не так, знаю, что черновик письма в нашем с Сашей письменном столе останется, а беловик, вот этот — только для Вас переписала, только Вы, может быть, когда-нибудь прочтете, — и все равно корю себя, корю: так живо представила себе миг, когда дядя читает письмо.

А поверх этого укора, а сильнее его — иное чувство... Иное, худшее. Чувство утраты, жалости к себе. Для чего оно ночами жгло меня, мое письмо, тогда еще ненаписанное? Для чего? Только для того, чтобы, устыдясь его восторженности, его эгоизма, его оторванности от реальных людских — дядиных, тетиных, Аленкиных — дел и забот — бросить, скомкав, в стол? Для меня-то мое письмо — реаль-

ность, совсем оно не оторвано от жизни. Да для чего же было выплескивать частицу себя — в никуда, в никогда? Ведь и Вы едва ли когда-нибудь его прочтете!

А еще?.. Кому еще я могла бы послать такое письмо? Матери?..

...„Прижать к сердцу мою дорогую”... Да... А что? Может быть, и матери (но лишь в мечтах, в мечтах, — не такие у нас с ней письма)! А вообще-то говоря, в моей маме сохранилось что-то девчоночье, угловатое, что-то напоминающее подростка, что-то от самой ранней весны. И родилась она — мама-девочка, мама-подросток — в марте, в самый последний день марта.

„Прижать к сердцу мою дорогую... девочку”...

А может быть, все это — к сестре? Кстати, сестра моя — Вы ведь знаете, я уже говорила Вам, — она, как и Оля, как и Олин муж, тоже пришла к вере..

И Вы знаете, когда бывало, что —

Мне снилась зима, до того молодая...

когда мне снились *белые, белые сны*, — я бы и сестре, и сестре могла бы сказать и в сердце своем порою говорила: „Светлое сегодня утро, светлый знак — весточка твоя!” Да... Но она, сестра, так редко и — так взросло! — пишет нам! Мне... Все больше — о житейских заботах, о мелочах повседневной жизни. К тому же — давно она не писала нам, давно.

Да где же мое безразличие к ней, если я иногда — в особенности весточку от нее (или — от Вас!) получив, мысленно говорила: „Сестренка! Ты ведь милая, ты ведь грустная, ты — по-своему добрая. И ведь — *мне, мне* ты обязана жизнью. Ведь когда мне пошел восьмой год, я умолила родителей своих „подарить” мне сестренку. Я не отступала, я настаивала истово, одержимо, изо дня в день, из часа в час.

И они сдались. Я ведь не знала тогда, что мы будем такие разные и что я с самого твоего младенчества стану их к тебе ревновать, что я слишком быстро устану (ибо не гожусь в *старшие*) быть старшей сестрой...

Но в те минуты, когда —

Мне снилась зима, до того молодая,

Что не было места унылым заботам, —

разве я не думала о тебе, сестренка, разве не тебе писала я в том, не посланном Ольге письме: „Ты сохранила, навсегда сохранишь свежесть, колкость, снежность, молодой морозец“?.. Ведь — и к тебе все это, и к тебе!

И — к Оле. Я ведь Олю хорошо помню: ясный лоб, ясные карие глаза, отливающие бронзой прямые блестящие волосы, нежные, строгие, не тронутые помадой, девичьи губы. И веснушки кое-где — брызги солнечные: на щеках, на руках.

Мне кажется, она, Оля, любила меня, — хоть и не за что ей любить меня.

Я и мужа ее люблю, хоть и ни разу не видела его — ни в жизни, ни на фотокарточке.

И кто еще мне дорог, за кого сердце болит, из-за кого у меня *чувство вины*, будто и в самом деле письмо послала, так это — Сашин дядя. Брат Сашиного отца. И лицом, и характером — на Сашиного отца похожий. Помню, Саша говорил мне: такой же вспльчивый, отходчивый, взрывчатый, прямодушный.

Сашиного отца я никогда не видела. Он умер, когда Саша был в лагере, — и — из-за того, что Саша был в лагере. Сын за проволокой — так он, его отец, от лечения отказался, категорически лечиться не захотел...

Я все это знаю, помню, как будто это было со мной...

И еще: такое чувство, будто когда-то дотрагивались до моей щеки так бережно, так по-мужски осторожно прыгающие руки Сашиного дяди. Когда мы уезжали, он был еще здоров. Сколько с тех пор лет прошло!... Вот и его, дядины, руки прыгают, прыгают... не держат пера на листе. Кажется, года два назад мы получили от него письмо с прыгающими, ковыляющими, как бы подсеченными строчками. Подбитая строка, подбитая поступь строки... Подбитый полет...

Ох, как мне грустно, грустно.

„Ясный лоб, ясные карие глаза, прямые, отливающие бронзой волосы... И веснушки кое-где: брызги солнечные”... Это — Оля.

А я? Что я могу сказать о себе?

Вот я сейчас подошла к зеркалу: узкий лоб, прямые сухие волосы, узкие злые губы. Господи, неужели это я? Да неужели же я так зла, что у меня такие губы?

Я вот сейчас подумала: а вдруг и ты... а вдруг и Вы видите меня такой же, как я себя — в зеркало, потому и не пишете мне?..

... Не дай лишь Бог, чтоб страх меня настиг,
Чтоб в смертной муке крикнула: „За что же
Я в этой жизни старюсь каждый миг
И только в прошлой становлюсь моложе?”

Вот ведь как бывает: от светлого письмеца к Оле, от „светлого утра” в душе, от „знака светлого (призыва!)” — к собственным злым губам.

Лучше бы я не смотрела в зеркало.

Скажи мне, *какой* ты видишь меня. Неужели у меня в действительности узкий лоб, прямые су-

хие волосы, узкие злые губы? Да как же это может быть, когда... когда я и к матери своей, — маме-девочке, маме-подростку! — и к сестре своей, и к Оле иногда втайне, наедине с собой так тянусь, так хочу, — пусть даже незаметно для них, украдкой — „прижать к сердцу мою дорогую... девочку”?

Злые губы!

Я бы успокоилась, я бы утихла, если бы... если бы кто-нибудь из них — хоть во сне, хоть во сне! — захотел бы и меня, и меня обнять, — чтобы мне сон такой приснился: „прижать к сердцу... дорогую девочку”.

Прямые сухие волосы!

Простите меня, простите, что я еще и о своей внешности говорю. Ведь казалось бы — не до этого. Ведь казалось бы — мне до моей внешности никакого дела нет. Отчего же мне так больно при мысли, что я Вам совсем, совсем не нравлюсь? И — что я никому не нравлюсь, не могу нравиться...

Но — этот сон, этот сон!.. Помните?... Мы сидим с Вами рядом, на краешке тахты, почти касаясь друг друга. Вы протягиваете руку ко мне. Вы говорите с открытой, детской, счастливой улыбкой:

— Я не знаю, в какой мы стране и в каком времени...

Порой так крепок и росист
Под утро сон,
Так нем и так запретно-чист
Под утро сон...

Ведь Вы ответите мне что-нибудь? Да?.. Ну, хоть несколько слов.

Ох... Совсем, совсем устала. Ломит виски. Левая

рука тяжелая. Это ничего, ничего. Вы только поймите меня. Вы только — ободрите.

Я ведь уже говорила тебе и говорю: самое жесткое твое понимание для меня лучше, чем молчание твое!

Я ведь так прошу Вас, так прошу: объясните мне меня. Ну, хотя бы вот по этим письмам — непосланным, ненужным, по этим бессонницам ночным — мне меня объясните. Я ведь жду. Жду слов Ваших!..

29

В те дни, когда еще были письма от тебя, ты мне о свете говорил, к свету звал. А я... Какое-то удушье.

Но неужели именно потому и удушье, что Вы полностью замолчали, выключили меня из своей жизни?

Если бы понять причину твоего молчания! Если бы понять!.. Но нет, мне не дано *понять*, и у меня от этого бессмысленного страдания (ведь мысль бьется в тупике!) — такая тяжесть, такая невыразимая подавленность, такой гнет — как будто бы я согнулась под ношей, которую не снести.

Помню, наш с Сашей приятель, очень хороший, добрый человек, с которым мы познакомились уже здесь, рассказывал как-то, что он там, у себя в Киеве, однажды мешок с картошкой на спине нес. Шестьдесят килограмм, на крутой пятый этаж. „И нет бы, — говорит он, — эти шестьдесят килограмм разделить на два раза, два раза подняться с мешком! Нет, не догадался, не подумал. И — надорвался”: И с тех пор чуть только что-нибудь тяжелое он поднимет — начинает ломить поясницу, да так, что скрючивает его. В дугу сгибает. Вот такое — с поясницей случилось,

и — не проходит, не проходит! Лишь отпускает на время.

А было это — когда он надорвался — не вчера, и не год назад, а лет так шестнадцать или семнадцать назад. И лечился он с тех пор по-всякому, все перепробовал, — нет, не помогает, не помогает, только временное облегчение дает. Он и этому рад: даже и временному облегчению...

А я... В душе у меня сейчас даже и временного облегчения нет, под невидимой ношей задыхаюсь. Неужели вся причина — в твоём молчании, в том, что ты вычеркнул меня (без всякой моей вины, без какого-либо внешнего повода, просто так!) из своей жизни? Неужели дело — только в этом, только в этом?.. И лишь оттого, что Вы „просто так“ вычеркнули меня из своей жизни, такая тяжесть давит меня?..

Нет, не может быть, не может быть... Не может быть, чтобы это было единственной причиной. Но возможно, что Ваше молчание как бы проявило, извлекло на свет другие таившиеся во мне и в окружающем меня мире причины. Их много. Если бы я могла свой „мешок с картофелем“, свою тяжесть разделить на части и каждую в отдельности попытаться „поднять“, то есть осмыслить каждую причину... Или — хоть некоторые из них...

Может быть, дело в разлуке, которая присуждена навечно — с родными, с друзьями, с привычной природой?.. Да, конечно, и это, и это... Но: *и* это, а *не* только это...

Я уже говорила тебе: множество страхов смущает, терзает, обескровливает меня. Вероятно, это все — темные страхи, так как их истинная природа связана с себялюбием, с тщеславием, завистью, ревностью, унынием.

Да, я завидую, я ревную. Нет, не к другим людям не к другим поэтам, а к своему двойнику, к своему литературному псевдониму, к Маре Никольской. К Никольской — отстраненной от быта. К Никольской, хорошо защищенной (не то что я, Маша) от мелочных неудач и уколов повседневности. От безжизненной болтовни. От сплетен. От *местечек* любого сорта — русских, еврейских, китайских. От необходимой в этой жизни ловкости, трезвости, умения жить. От банковских отчетов, от чеков, от счетов, в которых я ничего не понимаю. От приготовления обедов. От уборки кухни. От ходьбы в магазины. И — от иврита, от иврита.

А я, Маша Покровкина? Мрачна, скована, вечно угнетена. Просесть. Плохие зубы. Плохая одежда. Плохое настроение. Плохие мысли. Взгляд испуганный, движения робкие, ученические. Стареющая институтка.

Маше Покровкиной ничем нельзя помочь. Зато многие хотят помочь Маре Никольской. Устроить ее творческий вечер. Распространить по подписке сборник ее стихов. Послать ее стихи за границу. Здесь, в Израиле, познакомить ее с хорошими переводчиками на иврит.

Никольская — это барьер между мною и сыном, между мною и Сашей, между мною и Вами.

С тех пор как появилась Мара Никольская, которая — как-то отвлеченно! — нужна малознакомым, а то и совсем незнакомым людям, я, Маша Покровкина, с особенной остротой чувствую, что я *никому не нужна*, — не нужна я и своим домашним, и друзьям, — а стало быть и самой себе не нужна.

Часы стучат, часы идут,
Уходят прочь минуты...

Нет, не оставляет он меня, этот мотивчик!..

Вот я и думаю иногда о том, чтобы уйти, совсем уйти, из жизни уйти. Для чего мне жить, если я никому не нужна, и меня никто не любит, и сама я в своем ожесточившемся сердце все чаще и чаще ощущаю *нелюбовь*? Ведь из жизни уйдет только Маша Покровкина. А Никольская... Никольская останется?.. Может быть... И ее будут и з у ч а т ь. Будут копать в моих, Машиных, болячках, будут создавать обо мне, о моих причудах легенды и мифы, — и все для того, чтобы лучше и з у ч и т ь Никольскую.

...Мы смотрим счастливо и немо,
Как зыбок синих солнц восход, —
Все это будничная тема
Для чьих-то будущих работ...

До чего мне больно! Разве что грешники в аду мучаются так, как я. Вот 26-го июня, за двадцать с лишком лет до всяких Никольских, Саша любил — меня, меня!.. Помню: гроза, солнце, Тимирязевский парк, сумасшедший ливень, сумасшедшие — мы.

А что теперь?.. *Мара Никольская*... Право, он, Саша, гораздо больше любил Машу Покровкину.

Мара Никольская... Но разве я... разве она — не Сашино дитя, не его создание? Саша нашел для меня этот псевдоним... Мара Никольская... Но разве не сидит это на мне, как плохо надетая, сползшая на бок шапка? А впрочем... какая разница?..

Ну, вот. Саша выбрал для меня перед отъез-

дом этот псевдоним, нахлобучил на меня эту шапку.

И вот ведь что вышло: мне, Маше Покровкиной, достаются одни шипы, а Маре Никольской, как водится, розы. С Никольской переписываются незнакомые люди. Покровкиной дерзит, к ней холодно относится ее единственный сын. Перед Никольской мир не замкнут, он открыт. Ее корреспонденты живут в разных частях света. Покровкина заперта в скуку замкнутого квартала, в свои четыре стены, где — жесткость, холодность близких.

Неужели так бывает всегда? Неужели отчуждение близких — это плата за творчество? Или — причина такого отчуждения — в моей житейской неприспособленности?

Как же мне не завидовать Маре? Как не раздваиваться — поневоле?.. И разве не на мою, Машину, долю достается весь тяжкий труд черновой литературной работы, — она, Никольская, подписывает своим именем уже готовые, отделанные строчки.

Как могу я, всегда робкая, неуверенная, мрачная, подозрительная, угнетенная — не завидовать Мариному взволнованному вдохновенному состоянию, движению, — творческому беспокойству души и в то же время спокойствию духа? Как могу не завидовать умению моего двойника — абстрагироваться, не замечать многих тягот, — и даже — одиночества, одиночества?..

Парадокс: зависть к самой себе... И ревность. Да, да, и ревность... Ведь все, чего не хватает в повседневной жизни мне, Маше, — то получает с лихвой в письмах своих далеких корреспондентов — Мара. И внимание, и понимание, и любовь, и бережность.

С Марой общаются глубокие, интересные люди, — со мной, с Машей, — соседи, которые относятся ко мне как к изгою.

И вот ведь еще что: моей, Машиной, отверженностью создается ее, Марино, признание, ее стихи настаиваются на моей горечи, в них пульсирует моя кровь.

Неужели во мне, Маше Покровкиной, есть комплекс Сальери? Ценить своего двойника Мару — и в то же время мучительно завидовать ему...

Возможна ли гармония? Могут ли Маша и Мара соединиться воедино, вместо того чтобы враждовать и противоборствовать?

Есть у меня записная книжка, на которой написано: „Из дневника Мары Никольской”. Сейчас я перепишу для Вас оттуда отрывок.

„... Мне иногда кажется, что у Маши ко мне какая-то странная любовь, какая-то ненависть-любовь. Эта мысль сжигает, подтачивает меня. Маша, мне кажется, мрачнеет, когда я оживляюсь. В то же время она мрачнеет и тогда, когда я впадаю в какую-то особенную, страстную, лихорадочную тоску или в полную подавленность. Значит, лучше — чтобы я была усредненной, чтобы я была серой?.. Чтобы от меня вообще не исходили никакие душевные, духовные волны, ни темные, ни светлые? Чем же я должна быть? Просто — нейтральной, смирной плотью, с постоянным кляпом, не бунтующей и не ликующей? Не радостной и не тоскующей? Просто — н и к а к о й?

Иногда мне кажется, что Маша ревнует меня к моей — к своей! — собственной душе, и уж тем более к данному мне судьбой (не-судьбой?) творческому началу. Как же можно жить с таким черным

подозрением? Как жить? И что же еще есть у меня, кроме души, такой беззащитной, такой нелепо — на все! — отзывчивой, такой ранимой?

Маша — мне кажется так — ревнует меня к моей работе, к моей поглощенности строчкой, страницей, черновиком (и даже — к моей увлеченности чтением!).

Я стараюсь при Маше не работать — в особенности, если она в этот момент ничем не занята или занята чем-то несущественным. Ведь все равно, увидав, что я черкаю строчки, она помрачнеет, завянет, или — прервет мое занятие, ход моих мыслей каким-нибудь разговором или чтением вслух. Надо бы мне перейти на ночную работу, писать по ночам. Но Маша спит чутко. Стоит проснуться мне — и она сразу проснется, начнет курить, кашлять, — нельзя ей так много курить, нельзя! — начнет ворочаться, хмуриться, мрачнеть. И мы обе без сна и без мыслей в голове, без света в сердце промаемся до утра.

Чего же Маша хочет от меня? *Какой* я должна быть, чтобы у нее стало светлее на душе, радостнее, бодрее?

Господи, научи меня, какой я должна быть, чтобы Маша — моя! — душа всегда была молодой.

Ведь дело не в возрасте. Я встречала — и часто! — людей, не очень здоровых физически, людей, которым — за восемьдесят, и — упругих, радостных, переполненных жизнью. Людей — светящихся и на свечение отзывающихся, людей, принимающих в сердце и смех, и улыбку, и печаль — не только свою, но и чужую печаль! — тоже в сердце принимающих.

Независимо от возраста — радоваться, грустить, ликовать, торжествовать, печалиться, веселиться... Смеяться и плакать: сохранить эту способность — значит, сохранить молодость...

Так *какой* же я должна быть, чтобы вызывать светлое оживление в Маше, чтобы это оживление поддерживать, как поддерживают огонь, не давая ему погаснуть? Что и как я должна для этого делать?

Может быть, я должна отказаться от поэзии? Я готова. И если даже для этого я должна погасить свою — ее! — душу, уйти от самой себя, перечеркнуть свою сущность, — даже и тогда (бывают, во всяком случае, минуты, когда я и на это согласна!) ... Да, иногда я бываю даже готова к этой последней и, может быть, напрасной жертве — в сущности, к смерти при жизни... Но что, если даже это не вернет Маше ни светлого подъема, ни оживления?”

Ну вот... Переписала для Вас строчки из дневника Мары. Как видно, ее тоже слишком счастливым человеком не назовешь. Ах, как все это нескладно, несчастливо получилось: встретились Мара и я, такие разные, в одной и той же телесной оболочке!

Но в сущности... Либо я — часть Мары, либо Мара — часть меня. Это — в зависимости от того, что во мне сильнее: творческое начало или — женское, личное, материнское... Самой-то мне в этом не разобраться. Я только часто, слишком часто ощущаю, как „творчество и чудотворство” вступают в какой-то жестокий, в какой-то безжалостный конфликт с потребностями ежедневной, повседневной жизни, с ее радостями и горестями...

Боже мой! Я чем-то обидела тебя... Да, да, я чем-то обидела тебя, Вас, и вот теперь... теперь ты мне мстишь. Ты мстишь мне молчанием своим.

А может быть... может быть, совсем и не в этом дело. Может быть, твои мысли сейчас заняты кем-то... заняты настолько, что ты совсем невольно забыл о моем существовании.

Ох, как тяжело, как тяжело! А может быть, мне так тяжело — из-за самолюбия? Ты оставил меня, ты перестал мне писать, — ведь я помню, помню: мое письмо было последним в нашей переписке! Ох, как меня жжет сейчас память о том письме, — о письме, на которое ты не ответил...

Значит, все дело в самолюбии? В чувстве унижения? Значит, получи я от Вас ответ на то свое безответное письмо, я бы успокоилась? Нет, нет, не может быть... Хотя я и плохая, хотя я и очень плохая, но на такое... на мелочные мучения самолюбия я все-таки не способна.

И все-таки... Может быть... ну, не самолюбие терзает меня сейчас, а гордость? Впрочем... какая разница между гордостью и самолюбием? Не знаю... Никогда не могла понять... „Гордость” — это что-то более возвышенное, что ли?

До чего мучает меня мое последнее письмо к Вам, письмо, на которое Вы не ответили! Строчки стучат в памяти, в сердце, я, кажется, помню наизусть все это несчастное письмо, во всяком случае, целые куски из него... Что же в нем было такого, в этом письме, что Вы не смогли на него ответить?

И еще... и еще... Вопреки своей всегдашней привычке все свои письма прочитывать Саше, это письмо я не прочитала ему. Не знаю, почему, но не прочитала. Теперь — я даже посоветоваться с ним не могу, — так ли оно унижительно для меня, то мое письмо.

Вы-то мое письмо прочли. Прочли... И — не ответили. Ох, какая мука, какая мука! Может быть, было бы легче, если бы я его не так отчетливо пом-

нила, то свое письмо. Нет, как нарочно, как нарочно... Оно восстанавливается в памяти, оно звучит у меня в ушах почти целиком, почти полностью:

„Сердце так переполнено Вашим письмом, что не знаю даже, как взяться за ответ”...

Что это, что это такое? Зачем? Для чего я так написала Вам тогда? Вы ведь не ответили, не ответили... Вы не прислали мне в ответ ни строчки. Господи! Да ведь даже совсем посторонним людям — и тем отвечают на письма!

„Выразить — невыразимое?.. Но не к этому ли я — и в разговорах с Вами, и в работе — вольно или невольно стремлюсь?..”

Это — еще куда ни шло. Тем более, что я говорю в этих двух строках не только о Вас, но и о работе, о своей работе... Да, но дальше!..

„ ... И все равно... Не знаю, как и начать.

Порой кругом неразбериха,
Порою кругом голова,
И вдруг так звонко и так тихо,
Как слезы, первые слова.

Да, да... Разве мы с Вами не живем в мире неразберихи?”

Ну, и остановилась бы на этом. Нет, нет, я продолжаю:

„ ... А Вы!.. Господи, как много тревог, но зато и жизни, живой, невероятно полной, посылается Вам! Я часто думаю об этом — о Вашей необычайной трепетности, отзывчивости, одухотворенности. Это — огромная нагрузка для души, но и счастье, которое не всем даруется”.

Что это, лесть? — можете подумать Вы. — Зачем она мне льстит?

Да, Вы имели все основания так подумать. Тем более, что в следующих строках я продолжаю:

„ ... Страстность, сдержанность, душевная глубина, бескомпромиссность в вопросах совести, в вопросах убеждений, трепетность постоянно натянутой струны — в сочетании с сильным интеллектом, свет веры, распространяемый вокруг, помогающий окружающим, необычайная мягкость, терпимость — при полной непримиримости к явлениям зла — вот Вы!.. Ну, и еще Вы — многое, многое, чего не выразить в коротком письме, а разве что в музыке, разве что в исповеди, разве что — в стихах.

Вы правы: многие мои стихи — результат общения с Вами. Вы никогда мне этого не говорили, но я чувствую, что Вы думаете так... Да, Вы правы. Все это выстрадано. Все это — как бы вместе: с Вами, с тобой. И все-таки хочется плакать — так Вы душевно щедры ко мне, так чутко, так безмерно глубоко понимаете меня. Ваши письма ко мне — это тоже кусок меня... Мне сейчас трудно понять: где письма, где наши разговоры с тобой, где мое письмо, а где — стихи... Одно невозможно без другого. Все взаимосвязано, все переполнено Вами, все, все — и в письмах, и в разговорах наших, и в стихах — так кровно, и больно, и сладостно, и горестно связано с Вами.

Полностью согласна с Вами, что чувства лирической героини моих стихов иногда надо усиливать, смелее проявлять. Я это и раньше чувствовала, но из-за какого-то смущения, из-за страха, что меня, Машу, полностью читатели „солют” с героиней, то есть... как это, есть такое трудное слово, да... идентифицируют с ней (а разве это не так?..), от этого я привыкла многое в лирике сглаживать, портя этим стихи, которые Вам читала... Но

у меня в черновиках, наверное, найдутся безрас- судные строфы, обращенные Марой Никольской к лирическому герою, к *нему*. И значит — можно будет стихи эти усилить, восстановив выброшен- ные строфы. А в целом, в целом — последняя под- борка моих стихов, которую я Вам читала, моя — и Ваша! — еще больше, если это возможно, сбли- зила нас. И Ваше отношение к этим стихам — то- же. Ну можно ли, можно ли быть еще более близ- кими?

Если бы я могла выразить, до какой степени Вы помогаете нам жить, если бы Вы до конца ощути- ли, что три души — и я, и Саша, и даже Сережа — вот здесь, в этом доме, в этом маленьком уединен- ном поселке, светятся и живут Вашей любовью, — может быть, осознание этого принесло бы Вам столь выстраданную Вами радость. Потому что это — чудо: так любить человека, как любим мы Вас, как любим мы всё в Вас.

Что же касается меня, то мне кажется, что во всем этом — в моем отношении к Вам, ко всему Вашему миру — есть что-то метафизическое... та- инственное, глубинное, необычайно светоносное. Боюсь только, что не заслуживаю такого высокого Вашего отношения. Но как бы я хотела быть до- стойной его!..”

Впрочем, отношение Ваше было высоким не ко мне, а к моим стихам, что совсем не одно и то же... Видимо, даже тогда, в своем странном письме к Вам, в письме, на которое Вы не ответили, я ощуща- ла истину, — потому в следующих строках и загово- рила о смирении, о служении:

„Будь я достойна такого отношения, тогда бы я со смирением начала сильнее осознавать свое с л у ж е н и е... Во мне и сейчас смирение есть. И в особенности я ощущаю его тогда, когда исповедь

моей пульсирующей, беспокойной души, эти стихи, эти листки, эти строчки попадают к тебе, когда ты берешь их в руки. Хочется плакать. Дай Бог, чтобы чаще хотелось т а к, от избытка нежности и благодарности, плакать!”

Сейчас-то мне тоже плакать хочется. Из-за нестерпимой горечи. „ ... Вот и дописала письмо. Письмо?.. Нет, просто — побыла с тобой вдвоем...”

Как безжалостно-точно я помню это письмо! Так что для меня все много, много хуже, — чем если бы Вы вообще, *без такого* моего письма, перестали мне писать. Или — чтобы не Вы мне не ответили, а я — Вам...

Так я этого бы хотела? Ох, какая же это суетность!

Я и стихотворение, и стихотворение помню, которое приложила к своему письму, — так что Вы, вопреки своему хорошему отношению к моим стихам, и на стихотворение не ответили. Конечно, нелепостью было с моей стороны — это стихотворение Вам посылать. К тому же... к тому же я никогда не гуляла с Вами в лесу, никогда не была с Вами в деревне. Так что — стихотворение мое — выдумка, и ничего больше. Так и относитесь к нему...

Так мне странно, так мне больно,
Так хочу забыться сном,
Так мне дышится привольно
В светлом сумраке лесном,

Так мне кажется законно
Раза в три помолодеть
И природой непреклонной
Самовластно завладеть, —

Что как будто распахнулось
Деревенское житье,
И душа моя вернулась
В тело прошлое свое.

Что же это, что со мною?
Влагод, листьями пьяня,
Всей зеленой тишиною
Переходит день в меня.

Зеленая тишина, свежесть... Когда у меня это было?.. Когда?.. Вспоминаю свое несчастливое детство — этого не было, пожалуй, и там... А вот свою отверженность, „непохожесть” — в детстве ощущала очень остро. Не менее остро, чем сейчас. Но сейчас я часто — в том числе и благодаря стихам своим — чувствую, что я — часть реальности, часть природы. Я живая... Живая!.. Ох, как горько, как сладостно это сознавать! Между мной и другими людьми нет стены, нет непроходимой пропасти, — многое, многое так близко другим людям — из всего того, что близко мне.

Другим людям... Другим людям!.. Но — не тебе... Не Вам!..

А может быть, я так остро переживаю твое молчание потому, что меня вообще занимает тема ухода из молодости? Уходим ли мы из молодости? — опять спрашиваю я. Впрочем, это не „тема”, — может ли попытка быть „темой”?

Хуже всего, хуже всего то, что мне все еще чего-то надо. Что это за беспокойство, что это за тревога и боль? Нравиться я, что ли, хочу? Да, хочу. Одному? Нет, многим. Всем. И женщинам, и мужчинам, и старикам, и детям. Хочу, чтобы меня любили. Тот факт, что жизнь — жестокая штука, понять и признать я не в состоянии. Мне надо, чтобы меня гла-

дили по голове (а иногда — и по головке), чтобы меня ободряли, утешали.

Скажите: нравлюсь Вам такая я? А ведь это — правда.

А кроме того, что мне надо, чтобы меня любили все, все, — надо, чтобы меня любил *один* — без памяти, до сумасшествия любил.

Белые, белые сны:

„Я даже не знаю сейчас, в какой мы стране и в каком мы времени...”

Я бы хотела *е г о* возвращать в молодость.

Впрочем, я хочу всех — в молодость возвращать. И женщин, и мужчин, и детей, и стариков. Да, и детей... Ведь бывают среди детей, знаете, такие маленькие старички.

Знаешь, о чем я сейчас подумала? Что нет ничего более пугающего, чем искренность, исповедь, жизнь души — когда пытаешься всем этим делиться. Боишься — *недодать*, боишься — *передать*.

Почему я боюсь *недодать* — понятно. Боюсь *оборвать* отношения, боюсь их засушить или заморозить. А вот почему боюсь *передать*? Почему многие боятся? Что это, страх, что не ответят тебе тем же? А если — и так? Если именно этот страх? Что ж... Разве в таком случае время, такое мучительное, такое медленное безвременье, полностью состоящее из унижительного ожидания Вашего отклика, оклика, — не подтверждает тот факт, что надо бояться *пере-дать*?

Я — старая идеалистка. Но... в этом моем определении себя есть известное кокетство. Я еще все-таки не такая старая. А что касается идеализма, то с этим вопросом столько напутано, столько!.. Вероятно, идеализм как явление — примитивен: ведь он подразумевает отбор лишь некоторых факторов из великого множества их. Идеализировать — зна-

чит по-своему пытаться хаос упорядочивать. Но в то же время сам идеалист никогда, никогда не может примитивным человеком быть. Вернее, примитивный человек не может быть идеалистом... Почему?

Сейчас половина шестого вечера. И Саша, и я в течение сегодняшнего дня много раз, начиная с самого утра, спускались к почтовому ящику. Оказалось: сегодня почтальон не приходил с о в с е м. Понимаете? Просто так: не приходил — и все. Соседи не получили своих ежедневных газет. Никто не получил ничего. Почему? А просто так. Почтальон *не захотел прийти* — и не пришел. Вот и все.

Как примирить одно с другим? Как остаться в живых, не убив в себе ни женского, ни творческого начала? Любить сына до беспамятства — и любить до беспамятства не дающуюся, но уже звучащую в душе строчку? Любить Сашу, самозабвенно, до конца, так, как может любить Маша Покровкина, и мысленно изменять ему — во имя творческого беспокойства, да, да, лишь мысленно — во имя стихов о надрывах, о разрывах...

Помните строчки:

„Опять любить ее на небе
И изменять ей на земле”?..

Нет, у меня не так... У меня — и з м е н я т ь в н е б е!

Но — какой бы я ни была — взаимоотношения с самой собой и с окружающими остаются тяжкими, мучительными. Как все противоречия примирить? Как пробиться мне сквозь свою вялую, робкую, порою — злую — полулюбовь к близким?

И все тот же вопрос во мне, все тот же вопрос: для чего жить мне, если я, Маша, никому не нужна?

... Часы стучат, часы бегут,
Уходят прочь минуты.
А я во власти тех минут,
Где исповедь, где смута...

Ох, как мне страшно. Как страшно. И — не с кем поделиться. Некому высказать. Только Вам. Тебе. А ты — молчишь.

32

Каждое утро я просыпаюсь с надеждой: будет весточка от Вас! И каждое утро, после завтрака (если почта более или менее вовремя, если не надо ее до вечера ждать), эта надежда гаснет: еще один день отчаяния, пустоты! И — ожидания, ожидания! Ведь пока мы живы, мы всегда еще на что-то надемся, всегда ждем **з а в т р а...**

Нет, не мать и не сестра *с той стороны* могут понять меня, услышать мой внутренний крик, мой отчаянный зов о помощи. Только ты можешь, только ты. Только ты можешь понять, можешь сделать что-нибудь, сделать **ч у д о**.

А может быть... вдруг... сегодня, именно сегодня, через час или через несколько часов, оно и будет, это **ч у д о**, письмо-экспресс от Вас? Ведь такое письмо доставляют в любое время дня.

Да, да, в любое время возможно **ч у д о**.

Ведь на этой земле, на земле израильской, **ч у д е с а** возможны, здесь они были — есть! — всегда.

Вот Вам еще несколько строчек из дневника Мары, — под этими строчками полностью могу подписаться и я, Маша, — тут нет разлада:

„Для меня лучше человек иного, чем мое, мироощущения, чем безжизненная шелуха пустых разгово-

воров, какая-то облегченная, какая-то полая, без веса душевных затрат, без проблеска чувства, переброска с темы на тему. Когда — ничего не излучается, и — некому отдавать, и — не у кого принимать...”

Да, в этом Мара права. В такие минуты (часы, дни), когда *ничего не излучается*, кажется, будто вся душевная и духовная энергия мира по какой-то непостижимой причине минует почему-то одного тебя, ты — в пустыне, и напрасно алчешь и жаждешь — *давать, давать*, — пусть даже и не получая или недополучая в ответ, — лишь бы *хотели* брать... И тебе начинает казаться, будто *только тебя* минуют эти живые волны где-то рядом волнующегося и взволнованного человеческого общения.

Выхолощено живое — лишь там, где ты, выхолощен — лишь вокруг тебя — всякий проблеск живого, ты забыт, ты почти уничтожен... и все равно ждешь, ждешь, ждешь...

Вот так я жду твоего письма... Пусть бы — и не письмо даже, а просто привет, в несколько строк, но — экспрессом, экспрессом!

Я — без писем Ваших — будто бы в невесомом состоянии, будто бы — без силы притяжения, в другом мире, на другой планете, где отсутствуют самые дорогие ценности, то есть не то что отсутствуют, а как-то ускользают.

Тут дело, может быть, не только в Вашем письме, которого нет... Может быть, многие из нас переживают в какой-нибудь момент это ощущение невесомого состояния, без силы притяжения, — многие из нас, приехавших с ю да, начавших новую жизнь з д е с ь.

И многие задают себе вопрос — г д е м ы и к т о м ы, хотя и не все задают этот вопрос вслух, — но

тот, кто молчит, возможно, задумывается над этим вопросом глубже, чем тот, кто много и шумно говорит...

Я думаю об этом и одновременно прислушиваюсь к шагам на лестнице: а вдруг — раздастся звонок, вдруг принесут письмо, письмо-экспресс?

Вот я перечитываю Ваше давнее письмо — как давно наш почтовый ящик пуст! — и ощущаю накат таких светлых волн, и я погружаюсь в эти волны и соединяюсь со всем живым, сущим, и хочу всех любить.

Ощущение невесомого состояния, чувство отсутствия земного притяжения, чувство, будто я на другой планете, — все, все это уходит, и я соединяюсь с собой и с людьми.

А ведь в Вашем письме нет ничего личного, оно — как бы сказать?.. — оно какое-то... надличное?.. — и для кого-нибудь оно было бы холодновато, может быть. А для меня — светится каждая строка и каждая жжет — горечью, памятью...

Я ведь прошу, я ведь хочу так немного: несколько Ваших строк! Но и в этом отказано мне, и на это я, видимо, не имею никакого права: слишком это бы был большой, слишком незаслуженный дар!.. Я еще не выстрадала его. Напротив: делала все обратное, чувствовала и жила как-то мрачно, тесно, темно, — хоть и страдала от этого. Часто в последнее время, да и не только в последнее время! — ожесточалась даже и на мелочи, на мелочи — в особенности! Я копила (и коплю!) обиды, наносимые мне повседневностью.

Звонок! Господи, звонок в дверь! Как бешено колотится сердце. Открываю. Сердце стучит, его удары отзываются в горле, в висках. Но за дверью — не почтальон, нет. За дверью — сосед.

— Простите, — говорит он мне. — На вашу веревку упало мое полотенце.

Я иду на балкон, возвращаюсь с полотенцем. Он благодарит. Я закрываю дверь... Медленно возвращаюсь к столу. Удары сердца становятся тише, тише. Холодная усталость. Тоска.

Вы, наверное, правы. Я слишком стара и эгоистична для того, чтобы Вас радовали письма ко мне.

„Пусть влюбленных страсти душат,
Требуя ответа.
Мы же, милый, только души
У предела света...”

Но если — „только души”, то почему физически болит сердце? А я еще подстегиваю его, крепчайшим чаем подстегиваю. Впрочем, какая разница? Ведь письма от Вас все равно нет.

С надеждой новый день встречаю,
Тоскуя, веруя, любя.
Я всю себя тебе вручаю
И всем живым — через тебя.

Вот с чем, вот с чем, с этими своими строчками мне хотелось бы из жизни уйти, — если уж я должна уйти (я думаю об уходе и почему-то заливаюсь слезами), да, мне бы хотелось — будучи еще совсем живой, у й т и, не дожидаясь омертвения, — ведь его-то, этого подступающего холода и тлена, я боюсь больше всего.

Голова у меня болит. Какое это имеет значение теперь? И все-таки я приняла сейчас таблетку от головной боли, — хорошо, что они есть у нас. Пусть головная боль отпустит, — ведь у меня не

так много времени, а я должна еще многое сказать Вам.

Поймите меня. Я ведь никакого особенного внимания не прошу. Только живой тишины. Только Вашего незримого присутствия в нашем с Сашей доме. *И писем, писем твоих!*

Ведь у меня в жизни так немного радости было. И школа, и институт — все прошло там, в Москве, как-то мимо меня: ни школы, ни института я как будто и не заметила даже, там присутствовало только мое тело, но не мысль и тем более — не душа. Я не получила никаких знаний, я очень невежественна, потому что не могла заниматься ни в школе, ни в институте по и х учебникам, по и х программам, не могла принимать корм из и х рук.

„Что такое сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них, очи у человека источают слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умиляется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда, или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему, и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно и со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были помилованы; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу” (Св. Исаак Сирин).

Разве мои школьные, мои институтские годы взывали к жалости, к живому движению души, к светлым слезам, к творчеству в себе и вокруг себя — истинной жизни?

Лучшие годы шли на формирование в нас несвободы душевной и на наше сопротивление ее натис-

ку. И вот теперь, теперь, когда явилась, наконец, внешняя свобода, которую я, казалось бы, так ждала, — вдруг выясняется, что она, та страшная работа, которую производила с нами вся прошлая жизнь, дает — уже з д е с ь! — ощутимые, ядовитые, реальные плоды. Ведь то, о чем говорит св. Исаак Сирий, сопряжено с внутренней свободой человека, и только тому доступна д е й с т в е н н а я жалость и любовь, кто перестал быть рабом собственной тьмы, кто перестал вольно или невольно быть сеятелем тьмы.

Вот этот вопрос страшно меня терзает. Несмотря на свои слишком поздние, увы! — душевные и духовные поиски, — лучше было начать заниматься ими на заре жизни, не на закате! — а вдруг... а вдруг я невольно вношу тьму... в Сашу, например... То есть своим „я”, таким эгоистичным, затемняю, подавляю его „я”, — все данное ему, Саше, подавляю невольно, и эта моя злая работа послана в *наказание* мне?

Если я его, Сашу, хоть один раз в жизни, хоть один раз, хоть двадцать лет назад — по г а с и л а, радость его по г а с и л а, то в этом уже может причина наказания быть. Вдруг я когда-нибудь погасила или перебила чем-то эгоистическим, своим, его радость, его оживление, его порыв? И тогда, значит, я несу крест своей тяжелой вины и тяжелого понимания, что *страшнее*, чем радость погасить — ничего нет... Да, да. В сердце это понимание несу, а умом — его (понимание это) оттолкнуть пытаюсь. Защититься непониманием. Но ум — то есть не разум, а житейский рассудок — тесен и глуп, а вот сердце — оно чувствует, знает, помнит...

И мне кажется, что вот этот страх, страх, что я Сашину радость когда-то погасила, относится к с в е т л ы м страхам. Боже, пошли мне — если

страхи, то *светлые*, имеющие в основе своей робость и трепетание перед Тобой... Помоги мне, Господи, понять свою вину!.. Может быть, *не одна* вина на мне, а — много, много, слившихся воедино, лишаящих меня покоя...

Да... разве Бог послал бы мне такую боль, если бы не было на мне вины?

Эгоцентризм... Это — вина. Конечно, это — вина, и еще — какая!

Но скажите мне, скажите, как тут не сделаться эгоцентристом, когда мелочи так неотступно, так последовательно, так безжалостно гасят порыв?

Провинциальность (внутренняя, душевная, не зависящая от места, где живешь) не признает „единичности чувств“, — боль, страдания, затаенный трепет, страх — все становится *предметом зрелищ*, превращается в вытоптанную общественную лужайку.

Повседневность (бытовая) и люди, олицетворяющие ее, — все это не пассивно, нет... Часто все это не только не пассивно, а враждебно всякому биению мысли и чувства, а тем более — беспощадно к *интенсивности* мысли и чувства. Почему это так?..

Есть в ней, в этой житейской повседневности, нечто наступательное, будто бы она, эта повседневность, эта суетность — ежеминутно, ежесекундно отстаивает не только свое право на власть (как будто кто-нибудь сомневается в том, что ее сила, ее власть — всегда уцелеют!), но и агрессивно подминает под себя, обрывает, пресекает все иное, иное.

Почему мир материальных, маленьких, бытовых действий, и дел, и болтовни так агрессивен?

В отношении Саши меня мучает то, что когда-то я (не знаю, когда и как) погасила его радость.

Это — скрытое, от меня самой скрытое *знание*, я могу лишь догадываться об этом и чувствовать в и н у.

Несу я тяжкую вину и в отношении моего сына. Сергея. Казалось бы, в отношениях все не так уж плохо, все обычно. Но это — на внешний, поверхностный взгляд. А на самом деле, если чуть поглубже взглянуть...

Ведь он, Сережа, очень одинок... Я не сумела настоящей матерью стать — такой, в которой он нуждался... Никогда не умела, с самого начала не умела и не сделала над собой усилия, чтобы научиться.

К тому же... *самый факт отъезда о т т у д а* — для Сережи слишком большая перемена судьбы, слишком большая. Он уезжал из Москвы, когда ему было десять (почти одиннадцать) лет, — он слишком много, слишком свежо, слишком остро п о м н и т. Это же — травма, весь этот переезд, и может быть, тем все это больнее, что он никогда об этой боли не говорит, — право, мне кажется, трудно найти более сдержанного человека, чем Сережа.

А осознание им разлуки, разлуки, наверное, навсегда — с моими, с его родными?.. С родными, к которым он был не просто привязан, а к которым сердце прикипело, — ведь все, чего не добавала мне моя мать, она с лихвой отдавала Сереже!.. И сестра... С ними он — Сережа — всегда проводил лето, год за годом, с младенчества, к ним, еще будучи маленьким мальчиком, самостоятельно ездил на метро.

И это о с о з н а н и е р а з л у к и, может быть, оттого и больнее, что оно скрытое, не выплеснутое, не разделенное с нами и ни с кем из друзей, — может быть, оттого оно и глубже, что при гордости, при чувстве внутреннего достоинства, которое есть

в Сереже, делиться самым мучительным — если не надеешься на понимание полное, абсолютное, какое-то всеобъемлющее понимание, — делиться, видно, не вмоготу. И только какая-то сдержанная печаль, а иногда — казалось бы, беспричинная раздражительность, беспричинно, казалось бы, беспричинно! — плохое настроение (хотя и шалить, и оживляться он может, в особенности — на вечеринках, когда с ним вместе собирается группа молодежи), — но вот эта сдержанная печаль, этот стойкий холодок в отношениях с нами, это, казалось бы, беспричинно-затяжное плохое настроение, эта подчас напряженная, натянутая какая-то молчаливость, это нежелание письма в Москву писать моей матери и сестре, эта уклончивость при разговорах о них, этот пассивный, но твердый отпор при разговорах вообще о чем-нибудь таком, что душу хоть немного задевает, — все это о многом говорит, о многом...

Я во многом виновата перед Сережей. Может быть, за это Бог послал мне такую тяжесть, такую тоску?..

33

Ох, как тяжело... Как тяжело... Душит что-то — и не отпускает. Какая-то... какая-то не физическая, а душевная... одышка. Воздуху, воздуху!

И вот ведь... вот ведь что ясно мне: стремилась я к свету, а вошла в меня — тьма.

Как видно, слабо, робко стремилась. Импульсами... урывками... На *постоянное усилие души* меня не хватало.

И вот... Сама я — развалина. Окружающий меня мир (мирок) душен и пошловат. Поэзия — вовсе не сущность каждой вещи. Гюго ошибался. Сущность

— стоячая вода, болото, трясина. Сплетни. И пошлость, пошлость провинциального быта.

С тех пор как вошла в меня черная подозрительность, с нею началось и задыхание, и удушье. Раздражительность моя, и мнительность, и настроенность на обиду, на оскорбление — все это усилилось, многократно усилилось. А черная подозрительность, мысль о том, что людьми руководит не доброта сердца, а холодный, жестокий, безжалостный расчет, холодный интерес к эксперименту (таковы их взаимоотношения со мной и с моим миром), — эта мысль доводит меня до неистовства, сводит с ума.

И вот, вместе с этими прозрениями, какая-то особенная *тоска* в меня вошла. Нет, не та, живительная, плодотворная, какая не только в юности у меня бывала, но даже — и потом, потом, — а какая-то черная, грызущая, вечно голодная, высасывающая душу тоска. Тоска ненасытная, сжигающая (огонь без света!), питающаяся мною, тоска, заставшая весь мир и душу мою — черным, все одевшая в черное, — вот какая тоска.

Ох, какая тяжесть в груди. Прямо физическая тяжесть. И левый бок болит. Не надо мне пить такой крепкий чай, не надо... А ведь я — по два, по три раза в день, крепчайший. Для бодрости. Что я делаю? Что я с собой делаю?..

Эту пытку снести мне невмочь.
Лучше смерть. Лучше вечная ночь.
Лучше сразу навеки отдать
Свод небесный, и море, и сушу,
Чем свою неделимую душу
По частям, по частям распинать.
Пусть же мука охватит меня,
Затуманит и взор, и сознание.

Боже мой, сократи наказание
Искупительной силой огня!

Почему я сейчас так близка к тому, чтобы решиться на э т о? Казалось бы, ответ прост: во-первых, не могу мучиться т а к, а во-вторых, не могу смириться с угасанием, старением, омертвением души, а к этому такое *темное мучение* неизбежно приведет.

Но ведь должны же быть... должны же быть и какие-то конкретные причины для того, чтобы решиться на такую крайность!..

Я говорю тебе: при мысли о смерти, о своем добровольном уходе я заливаюсь слезами.

Я непростительно живой
Была. За это, вероятно,
Я и наказана с лихвой,
Стократно и тысячекратно —
Удушьем — в полдень грозовой.

А может быть... а может быть, я наговариваю на себя? Может, все не так уж страшно? И письмо от тебя я получу. И мои близкие хорошо относятся ко мне. И вообще... нет никаких причин для того, чтобы я сделала э т о.

Э т о!.. Да как же я... даже и при равнодушии к своему телу, при его неухоженности и заброшенности, — да как же я все-таки могу?.. И потом... потом... Я говорю тебе: я слишком люблю жизнь. Я слишком люблю все ж и в о е. А это значит... это значит, что я не угасла еще, что в моей душе еще много живых пространств осталось.

И Вы понимаете... Так ясно, так ярко передо мной — все прошедшее! И прошедшее далекое, и прошедшее совсем-совсем недавнее. И Ваши пись-

ма. И наши с Вами разговоры. И мысли наши вслух — друг для друга... Всё, всё, каждый миг — так отчетливо, так неистребимо-ярко передо мной!

...Эту пытку снести мне невмочь...

Когда мне впервые пришла мысль сделать это, я сначала даже и не испугалась: а кому в какой-нибудь момент жизни такая мысль не приходит? Она к каждому может прийти, иногда даже завладевает чувствами, умом... А потом — потом люди отбрасывают ее как нелепость.

Поверишь ли, мне и самой непонятно, как дала я этой мысли настолько собой завладеть, что просто не в состоянии отвязаться от нее? Если я внутренне этому и противлюсь, то как-то робко, вяло, совсем не в полную силу.

Вот я сижу сейчас, и мысли мои — не только о Саше, о Сереже, о тебе, обо всех близких, — нет... мысли мои — и об этом. И что-то будто бы даже и подталкивает меня, и нашептывает: „Сегодня ты одна. Ты будешь до позднего вечера одна. Времени тебе хватит. Решись, решись!”

А я? Как ты думаешь, что, слушая это нашептывание, ощущаю я? Ничего, кажется... Ничего, кроме какого-то оцепенелого удивления. Я продолжаю разговаривать с тобой. Я ничего не отвечаю этому нашептыванию. Но я все-таки его не пресекаю, нет... Я вслушиваюсь...

„Записку все-таки оставь. Дескать, по доброй воле, никого не виню и так далее. А потом... В ванне, возле зеркала, есть Сашина бритва. Чтобы тебе было не так страшно, выпей водки. Или прими несколько таблеток нумбона, — это хотя и слабое, очень слабое снотворное, но все-таки опьянит немного, придаст решимости, затуманит мозг”.

В комнате очень громко тикают часы. Вообще-то они — еле слышные, но сейчас — все громче, все громче... Прямо стучат. И сердце стучит.

А вообще — тишина. В таком уж месте мы живем. Не взрывают под окном автобусы, не шумит уличная толпа, — не то что в городе.

А часы — все громче, все громче. Что отщелкивают, что отсчитывают они? Мое у х о д я щ е е в р е м я?

„Записку все-таки оставь...”

А я и оставлю. Я — оставлю. Все, что я пишу сейчас, и все, что еще напишу до того момента, как сделаю э т о, пусть и будет моей *запиской*. Может быть, она, эта моя *записка*, когда-нибудь попадет к тебе. Кстати... может быть... ведь сейчас утро, только девятый час утра, — сегодня будет почта, будет письмо от тебя. А вообще... Я буду сегодня до позднего вечера одна.

Саша поехал на съемки фильма. Сережа сейчас на армейской базе, в Тель-Авиве, а вечером поедет не домой, а к Софье Марковне. У нее переночует и домой придет только завтра, во второй половине дня.

Уже после десяти утра можно ожидать почту. Странно, что, думая об э т о м, я думаю еще и о почте... Да как же я могу не думать? Впрочем, я не верю, почти не верю, — письма от тебя, конечно, не будет. Но вообще какая-нибудь почта, может быть, и будет... Будет или не будет?..

Неужели так бывает у всех? Значит, человек остается *живым*, телесным, привязанным к жизни — до последнего своего вздоха?

Вот только часы слишком стучат. Жаль, что они не такие, как те, что у нас на кухне: те — совсем беззвучные.

А может быть, снять часы со стены, убрать куда-

нибудь в ящик? Нет... Ведь Саша очень удивится, когда увидит, что часов на стене нет. Будет их искать. Может быть, не сразу догадается, в каком они ящике...

Часы стучат...

И я стучу на машинке. Свою *записку*, свое письмо к тебе, попытку исповеди.

Я должна попытаться понять: почему, почему я хочу сделать *э т о*? Не знаю, удастся ли мне понять... Знаю только, что мучает меня ужасно мысль, что я *никому не нужна*. И Саше... Да, и Саше... Хотя он и говорит, что любит меня.

Но мне кажется, что для Саши я стала какой-то решеткой, тюрьмой. Я его, из-за своего злосчастного эгоцентризма, из-за своих меняющихся настроений, подавляю душевно, духовно.

Сереже мой внутренний мир не интересен. Так уж я воспитала его, — то есть никак не воспитала, была занята собой... А в смысле физическом, телесном (я имею в виду уход за ним, женскую умелую заботу) — что я могу дать ему? Ничего... В вопросах житейских он уже сейчас справляется со всем необходимым лучше, чем я.

Не нужна я и тебе: иначе — хоть изредка, хоть иногда — я бы получала от тебя письма.

Не нужна я и моим родным в Москве, — иначе они бы, наверное, *не такие* письма и не так бы редко писали...

Если я никому не нужна, то, в таком случае, я и самой себе не нужна тоже.

Саша прав, когда раздражается на меня. Сережа прав, когда в течение дня ни разу ко мне не обратится. Какая я мать? Что я для него сделала хорошего за всю его жизнь? Чем для него пожертвовала, что в него вложила?

„Решись, решишь... до позднего вечера ты будешь одна...”

А я и решусь... И мне кажется, я смогу сделать это без водки, без нумбона. А сделаю я это потому... потому что до жи в а н и е и медленное превращение в развалину (душевно, духовно) — мне ни к чему.

А время идет, шло... Шло — до сегодняшнего дня, когда все кончится для меня... Тогда кончится и мое время...

Время шло, отданное мелочам, сквозь которые редко-редко просвечивали твои письма.

Знаешь... возле губ у меня морщины, такие резкие, будто иглой провели, такие жесткие складочки от уголков губ вниз. Раньше их не было. А может, раньше я их не замечала?

Как болезненно, как пристрастно, как страстно я ощущала — ощущаю! — все последнее время — уходящие годы, даже — дни, а теперь — даже минуты!

Как будто заработал счетчик,
Стуча все ближе, все слышней,
И стала явственней и четче
Невозвратимость лет и дней.

Как громко стучат часы!

Когда же, когда мне пришло в голову это? А впрочем... неважно, когда. Важно — *почему* пришло. И *почему* — не отпускает?..

Звонок!.. Длинный звонок! К нам! Кто это, кто? Господи, сделай так, чтобы это был — почтальон, чтобы это было письмо-экспресс!..

Неверным шагом иду к двери. Открываю ее.

— Простите, — спрашивает меня незнакомая пожилая женщина, — здесь живет доктор Розен?

Мои губы мертвеют, руки совсем мокрые от пота, ноги — какие-то вялые, чужие, во рту пересохло. Тем не менее я спокойно объясняю ей, что доктор Розен — это не здесь, а этажом выше, но теперь он переехал, а принимать больных продолжает по вечерам в соседнем подъезде.

Женщина долго расспрашивает — в каком подъезде, на каком этаже, в какие дни, в какие часы, затем — долго извиняется передо мной „за беспокойство”.

Наконец, закрываю дверь.

Господи, за что все это?..

Как много было волнений и надежд, и вот теперь все, все кончено.

Больше ты не пишешь мне. Ты не пишешь мне даже: „Дорогая Мара”... Даже пакетов со своими статьями ты больше не присылаешь.

Пусто, пусто!

И все-таки я что-то могу... Да, я что-то могу... Ты не пишешь мне, но я, я сама могу написать себе письмо — *за тебя*. Я это твое письмо представляю так отчетливо, будто в самом деле его получила. Твое последнее письмо ко мне. Не так уж существенно, что на самом-то деле я этого твоего последнего письма не получала. Я уверена, что в твоей душе, в твоих мыслях оно — именно таково, каким появится сейчас передо мной на бумаге.

Вот оно:

„Милая Машенька! — мог бы ты так начать свое письмо. — Я долго не писал Вам, так как мне с некоторых пор, по отдельным отрывкам из Ваших писем начало казаться, что я влияю на Вас не в лучшую сторону. Мне кажется, что Вы приписываете мне и недостатки, и достоинства, которых у меня в действительности нет, и видите всё в слишком

субъективном свете. Как для поэта Мары Никольской — это естественно и понятно (стихи Ваши я любил и люблю), но как для моей приятельницы (я бы даже хотел сказать — друга) такое сгущение красок моего характера чрезмерно. Я человек вполне реальный, трезвый, хоть и люблю, еще с юности люблю поэзию. Но не надо отождествлять поэтического вымысла с реальностью: тут Вас могут подстеречь большие опасности. Вы должны направить все силы своей души и духа к одной цели — к служению. А служить Вы можете словом. Я по-прежнему буду с интересом читать стихи Мары Никольской и ее письма ко мне, в особенности, если они будут отстранены от Вашего слишком личного „я”, а пойдут на пользу и явятся нравственной поддержкой для многих людей, в том числе и для меня, который относился и относится к Вашей работе с благодарностью и уважением.

Привет от меня и наилучшие пожелания Вашей семье: сыну и мужу. Только Ваш муж может Вас по-настоящему понять, — не только Вас как поэта, но и Вас как человека, как женщину, нуждающуюся, и разумеется, с полным правом! — в настоящей поддержке, помощи, защите.

И еще, — мог бы продолжить ты, — как-то в письме полусхотят Вы назвали меня барином. В каждой шутке есть доля правды, и хотя я сам готовлю себе, сам себя, как говорится, обслуживаю, это все скорее по привычке, чем из склонности. И если бы я решил связать судьбу какой-нибудь женщины со своею, то, в первую очередь, искал бы не художника, музыканта или (простите!) поэта, а просто хозяйку, которая для меня, барина, создала бы семейный уют и комфорт, с которой я не опасался бы никаких взрывов и потрясений, зато вечером, вернувшись с работы, заставлял бы чудесный обед (я — и

чревоугодник, увы, пока тайный!), желательно с любимыми мною чрезвычайно пирожками с капустой и тефтелями в кислосладком соусе, которыми в детстве потчивала меня мама.

А теперь перечтите первую часть моего письма и Вы, наверное, простите меня и поймете, почему в ближайшее время я постараюсь не писать ни Маше, ни Маре”.

Ну что ж... Все сказано, наконец. Все сказано. Разве я в чем-нибудь ошиблась? Разве не выразила я в точности в этом, мною написанном Вашем *последнем письме* не высказанные Вами мысли и чувства? Да я в этом письме, написанном мною за Вас, от Вашего имени, больше уверена, чем в любом своем письме.

И — разве бывает иначе? Разве с такими, как я, бывает, может быть иначе? Вот теперь я могу читать и перечитывать *Ваше письмо* ко мне, Ваше последнее, не полученное мною письмо!

Каждая строка Вашего письма, каждая Ваша интонация — все это мне понятно, понятно. Разумеется, Вам нужен уют. Что же касается стихов, то они для Вас, как для большинства людей, не хлеб насущный, а десерт. Для Вас Мара Никольская пригодна как десерт (и то — не всегда, чтобы не приедалась!), а что же касается Маши Покровкиной, то Вам не было и не может быть до нее никакого дела.

Мне все это понятно, понятно. Я ведь выросла в доме, где пришитая пуговица значила больше, чем докторская диссертация. Ничего нового Вы мне своим письмом не открыли. Я — лишняя, я очень хорошо знаю, что я — лишняя в наступательном и победном, я бы сказала, в триумфальном шествии быта, в мире вещей. Мой сын, возвращаясь от моей свекрови, без конца расхваливает ее пирожки с пе-

ченкой, студни и прочие разносолы. И при этом ко-
сится на меня.

Почему бы и Вам не быть похожим на моего сы-
на? Ведь дело не в возрасте, не в возрасте.

Саша?... Я настолько утомила его, я настолько
для него — явление *раздражающее*, что моментами
вызываю против себя темное ожесточение. Огонь
без света. Очевидно, я распространяю вокруг себя
какие-то волны темной, а не светлой энергии, и
причина прорывающейся в Саше враждебности ко
мне — моя немощь в повседневной жизни, моя
растерянность перед жизнью.

Ну что ж... Многое можно было бы еще сказать,
да зачем? Я могла бы сказать, что я все же была не
таким плохим человеком, каким мои домашние
порою видят меня. Я хотела, да, да, я часто в сердце
своём стремилась к хорошему. Когда я думала о
Саше и о себе, разве не просила я в сердце своём:
„Господи, убереги от душевного старения, от
мертвящего холода — меня и его! Меня и его! Ме-
ня и его!..”

Мне не удалось одухотворить свой дом, свой быт,
сделать все это легким, радостным, невесомым, —
так, чтобы насущные бытовые обязанности испол-
нялись не мрачно, не через силу, а как-то незаметно,
чтобы — каждый прожитый день оставался в памяти
очищенным и преображенным.

Мне не удалось ничего.

И вот с каждым мгновением все яснее для меня,
все яснее, что я должна у й т и. Последней надеж-
дой, последней в моей жизни соломинкой были Вы,
— и вот... Ваше письмо, Ваше последнее письмо. Что
нужды, что я сама написала его за Вас? Ведь я Вас
поняла, поняла, и лишь одно мне до сих пор как-то
не ясно: для чего Вы вообще раньше писали мне,
для чего Вам мои стихи? Я (очень жаль!) так от-

четливо-ясно слышу, помню Ваш голос: „Почитайте мне что-нибудь, Мара!”

Вы... ты смотришь на меня.

На губах твоих смешок,
А в глазах твоих — тоска.

Но не в том дело, не в том. Жизнь моя обесмыслилась потому, что я с каждым днем, с каждой минутой все больше темнею и ожесточаюсь. Раньше — хоть просветы бывали. Теперь больше их нет. Я сейчас опять перечту Ваше письмо, — письмо, которое я написала за Вас.

Я ведь сейчас дома одна.

Я буду до позднего вечера одна.

Как громко стучат часы!..

Трезвость и безжалостность каждой Вашей строки помогут мне.

Вы бы могли написать мне еще и о том, что женщину, которая была бы дорога Вам, Вы бы видели не в одном и том же — всегда! — тусклом платье, а в чем-то легком, женственном и прелестном, и — не за письменным столом, сгорбившуюся над черновиками, а на траве, — да, да, босиком — на траве!..

Вы еще — пощадили меня. Вы не додали мне по заслугам, не додали плохого. Ни слова не сказали Вы в своем письме, в письме, написанном мною за Вас, — ни о моем возрасте, ни о моих злых губах, ни о моих морщинах возле глаз, возле губ. А они есть, их становится все больше. Они всё заметнее, всё жестче. Господи!

Мне больше незачем жить. Мне больше — не для чего жить.

Зачем мне такая жизнь — без молодости, без надежды, без любви? Душно... ДУШНО!..

Чтобы не видеть больше в зеркало своих *злых губ*, чтобы перестать стариться (в муках!) физически и душевно, чтобы навсегда покончить с кипящими во мне темными страхами, с постылой нелюбовью, чтобы душа — остатки ее! — больше не корчилась в огне нелюбви (моей — и ко мне), я решилась уйти, совсем уйти из жизни.

Я вскрыла себе вену.

Меня спасли. Меня увезли в бессознательном состоянии в больницу.

Всю ночь мне переливали кровь. Всю ночь Саша был возле меня.

И по мере того как в меня вливалась жизнь, входило осознание и понимание, что жизнь — это светлый дар, что каждый час, каждый миг нам — незаслуженно! — даруется и прощается столь многое, что диву даешься, сколько нам, недостойным, даруется и прощается. Жизнь!..

Ночь медленно шла. Мне переливали кровь. Саша молчал, прижавшись головой к моему изголовью. Я думала:

„ ... И вот ведь что чудесно: что дана нам жизнь в свободе: всякий миг в нашей власти ее и нас самих изменять, преобразать... ”

Жизнь!.. Постоянное взволнованное движение, постоянная возможность обновления! А я хотела убить себя...

Мама, мама, любимая моя! Я будто бы родилась снова, будто бы родилась впервые — для того, чтобы сказать тебе, как сильно я люблю тебя. А ты, ма-

ма... Как горько ты молчала всегда — о себе, о своем!..

Мама, мама, моя родина, моя Россия!..

... По тебе, замолкшая Россия,
Древние звонят колокола.

Разве я думала о *твоей* душе, о *твоей* тоске, о *твоей* жизни, о *твоем* одиночестве, мама?

Господи, помилуй меня. Господи, навсегда отведи от меня мою собственную тьму. Куда я шла, Господи? Что было со мной? Господи, я хочу всех, всех любить...

Лежа на спине, смотрю в светлеющее окно.

Рассвело. Медленно, нехотя, — а может быть, больничное окно мутновато? — но рассвело. Вошла санитарка, приоткрыла окно. И сразу птицы стали слышны — будто бы лето, летний рассвет.

Небо посерело, поголубело, — ясный, не ненастный сегодня день. Дождя не будет. Московского ноября, ненастья — не напомним.

Мама! Как сильно я люблю тебя, мама! Это открылось мне неожиданно, а было во мне, билось во мне всю мою жизнь. Помню, как я девочкой — лет десяти или двенадцати, с разбегу подбегала к тебе, и ты распахивала навстречу руки, и каким теплом заливало меня, какой горячей щемящей нежностью, когда я, обхватив тебя обеими руками, утыкалась в покалывающий, мягкий, теплый ворс твоего платья и вдыхала его запах — запах дома, запах уюта, запах колкой молодой зимы, запах мамы.

Вот видишь, мама, довелось все это вспомнить и так остро, щемяще ощутить, будто было это вчера, — нет! *Только что!*

Мамочка! Ты скажи Нине, и Гене, и детям их, что я их очень люблю! Я надеюсь — даже, если моя на-

дежда не слишком реальна — когда-нибудь вас всех увидеть.

А что? Мало ли бывает чудес? И в конце концов...

... И в конце концов, — я уже говорила Вам, — сама земля Израиля была и есть хранительница и созидательница чудес!..

А с облаков — розовое, желтоватое совсем сошло.

А во мне почему-то в течение всех этих ночных и предрассветных часов билось, светилось — блоковское:

„В ночи, когда уснет тревога
И город скроется во мгле...”

Да, с облаков розовое, желтоватое совсем сошло. Они поднялись выше...

... „О, сколько музыки у Бога,
Какие звуки на земле!”

Облака поднялись еще выше, стали воздушными, переполнились светом.

Мне переливали кровь.

Папа, папа, это т в о й Израиль вливается в меня. Кровь доноров — сыновей и дочерей Израиля, твоя кровь! — возвращает мне жизнь, руки у меня теплые, голова работает ясно, четко. Такие звонкие утренние мысли:

Разве уже невозможна
Ранняя трепетность окон?..

Гляжу в больничные окна, в их *раннюю трепетность*. Только правая рука, в том месте, куда переливают кровь, очень ноет, болит. Ты, Саша, попроси

у сестры анальгин, попроси. Очень уж ломит руку, от кисти до плеча.

Есть, да, Саша?... Я разжую таблетку, чтобы быстрее подействовала, запью водой. Вот так...

Сашенька, Саша!.. Ты знаешь... Это возвращение к жизни так странно-чудесно, что я многое-многое вижу будто по-новому.

Мысли совсем ясные в голове, такая яркость, свежесть!..

Сашенька, родной... я вот, например, понимаю теперь, *за что* была наказана нелюбовью или полулюбовью... Я не понимала сущности любви...

Дело ведь не в том, чтобы видеть то, что и так видно, — дело в том, чтобы видеть *скрытое*, то, что видно не сразу...

„Вера, как основа и душа жизни, — билось во мне, — залог жизни и сама жизнь!.. Человек рождается со своим, особым взглядом на мир, на себя, он понимает, что за всеми внешними явлениями, которые преходящи, есть нечто вечное, есть свет, есть душа...

Во всем есть душа, во всем — воля Всевышнего, частица святого есть во всем. Нет ничего в мире Ему не подвластного и от Него не исходящего. Неживая природа — камни, например, — на иврите называются не „неживой”, а *тихой* природой. Есть и в ней, в *тихой* природе, жизнь, есть и в ней душа... Надо только открыть эту душу...”

Я, например, виновата перед душой повседневности: я ею пренебрегала, я от нее закрылась, я ожесточилась. Я виновата перед миром так называемых *мелочей*, от которых можно высокомерно отвернуться, но которые являются живительной средой для темных или светлых страстей.

Я виновата перед всеми близкими своими: я думала о себе, о себе, не о них!

И Вы знаете, сейчас... когда я полностью поняла, как бесконечно я перед ними виновата, в меня начал входить свет. Нет-нет, мне это не кажется. У меня сейчас такие утренние, такие молодые мысли. Несмотря на всю горечь из-за молчания Вашего, несмотря на... разлуку.

Знаете... Я сейчас... как-то физически, как-то *кровно*, голодно ощущаю свою близость к Сереже, тоску души и тела — по нему. Так у меня бывало, когда я шла с ним, совсем маленьким, по улице, за руку, и хрупкая нежная податливость его маленькой ручки физическим теплом вливалась во всю меня, заставляла сердце биться чаще, разгоняла кровь по жилам, а глаза увлажняла горячей жалостью.

Ох, кто поймет это тоску, эту свежесть памяти?..

Господи, прости меня за то, что я была слишком дерзка в своих заблуждениях и слишком робка в любви! И ты прости, Саша!.. И Вы... и вы... все... простите!

Как ломит правую руку. Просто совсем разламывается. Сашенька, попроси еще одну таблетку анальгина. Та, первая, очень помогла.

Вы знаете... пока я была без сознания, я будто бы слышала голос моей мамы. Сон это или... Я уж не знаю... Она говорила мне:

— Помнишь, я возражала против твоего отъезда. Смириться с твоим, с вашим отъездом, потерять вас, Сережку — я не могла. Но когда ты стала говорить мне о папе и о том, как он любил тебя, и о том, что ты едешь на его землю, я смолкла. Я была слишком виновата перед твоим отцом и перед самой собой, — перед нами обоими, — чтобы возражать тебе, его... нашей дочери... — так говорила моя мама, и сердце мое раскрылось для бесконечной любви и жалости к ней.

Бедная мама! Так вот почему она смирилась, отпустила нас!

И едва вошло в меня это новое светлое чувство к моей маме, едва я поняла, как сильно я ее люблю, я вдруг почувствовала в себе безграничные — понимаете?.. — безграничные душевные возможности для того, чтобы любить всех, всех — и каждого по-своему, каждого — в отдельности. Сердце мое было наполнено, переполнено любовью.

Было?..

А сейчас?..

И — сейчас...

Знаете, я вспомнила: „Сущность каждой вещи — поэзия”. А Вы согласны с этим?.. Я вот подумала сейчас: это так, это так... И еще я подумала, что, может быть... может быть, еще сущность каждой вещи — душа... Она, душа, — сущность истинных связей между людьми, сущность истинных связей людей с Богом, людей — с природой.

Вы меня слышите?.. Вы слушаете меня?..

36

Получила письмо от мамы, состоящее из одной строчки:

„Машенька, почему ты мне не пишешь?..”

И дальше — белый, белый лист...

Белый лист, белый путь... Господи, дай мне силы сделать первые шаги по нему!..

*

Я напишу о всех печальных,
Оставшихся на берегу.
Об осужденных на молчанье —
Я напишу.
Потом сожгу.
О, как взвоятся эти строки,
Как запрокинутся листы
Под дуновением жестоким
Непоправимой пустоты!
Каким движением надменным
Меня огонь опередит!
И дрогнет пепельная пена.
Но ничего не породит.

*

А мы остаемся —
На клетках чудовищных шахмат —
Мы все арестанты.
Наш кофе
Сожженными письмами пахнет,
И вскрытыми письмами пахнут
Почтамты.
Оглохли кварталы —
И некому крикнуть „Не надо!”
И лики лепные
Закрыли глаза на фасадах.

И каждую ночь
Улетают из города птицы,
И слепо
Засвечены наши рассветы.
Постойте!
Быть может — нам все это снится
Но утром
Выходят газеты.

БАЛЛАДА О СТЕНКЕ

Да воздастся нам высшей мерой!
Пели вместе —
Поставят врозь,
Однократные кавалеры
Орден — через грудь насквозь!
Это быстро.
Уже в прицеле
Белый рот и разлом бровей.
Да воздастся!
И нет постели
Вертикальнее и белей.
Из кошмаров ночного крика
Выступаешь наперерез,
О мое причисленье к лику,
Не допевшему
До небес!
Подошли.
И на кладке выжженной,
Где лопатки вжимать дотла,
С двух последних шагов я вижу —
Отпечатаны
Два крыла.

Есть далекая планета.
Там зеленая вода.
Над водою кем-то где-то
Позабыты города.

В мелких трещинах колонны,
Теплый камень — как живой,
Оплетенный полусонной
Дерзко пахнущей травой.

Между белыми домами
Чутко дремлет тишина.
Смыты давними дождями
С тонких башен письма.

А планета все забыла,
Все травую поросло.
Ветер шепчет — что-то было,
Что-то было — да прошло.

А весна поет ветрами,
Плачет медленно вода.
И стоит над городами
Небывалая звезда.

Умудренно и тревожно
Смотрят рыбы из реки,
В темных травах осторожно
Пробираются жуки.

Птицы счастливы полетом,
Вечно светел белый свет...
Может, снова будет что-то
Через много-много лет.

*

Моему незаконному прадеду —
подполковнику гражданской войны

В двух верстах от реки Двины —
С пульей в горле —
В последней муке —
Посредине своей войны
Ты навек запрокинул руки.

И по белой рубашке — кровь
Голубая.
И рот прокушен.
И растерянных муравьев —
Хороводом —
Простые души.

Вместо будущих летних дней,
Вместо горькой посмертной славы —
В опрокинутой глубине
Голосят
Над тобою травы.

Отлетела
Твоя гроза.
Мы — в позоре чужих парадов.
Но даны мне твои глаза —
Как проклятие
И награда.

I

Смотри, словно ветер из света
Ударил по жухлым полям,
И листьев усталая ветошь
Распалась по огненным швам.

Смотри, как река расступилась
До самой седьмой синевы,
Как будто все лето копила
Тона незабудок и слив.

Ожившая церковь на склоне
Каким полыхает теплом,
Как вдруг проступают иконы
Над входом и алтарем.

Смотри, как согнуло в коленях
Мою неподвижную тень —
Какой маяты и сомнений
Все тленное полно теперь.

Какое печальное пенье
Из щелей врывается в свод —
Молитвенным ветросплетеньем
Озвучен погост и приход.

II

Как комья скатанного снега
С политой ледяной горы,
Ища покоя — не разбега —
Из рук визжащей детворы,

Слетают дни, недели, годы,
И вот приходит этот день
Средь новостроек, злой погоды
И опустелых деревень —
ОН возвращается в Россию —
Ко всем подворьям льнет зима,
Милльонами казанских сирот
Дрожат панельные дома,
Молящимся хватает храмов,
Убитым — взорванных церквей...
Сейчас придет другая драма —
Спаси здесь все и пожалей.

*

Наскучили, верно, природе...
И гонит смертельная мгла
На лес и на стылую воду
Колючие горы стекла.
Стреножена гладь облаками
И ранней осенней тоской,
О каждый ударится камень
И в теплый зароется стог.
Как благостен, как беспросветен,
Как грустен и равно велик
На родине день или вечер —
Бессмертье и тлеющий миг.

*

Свой путь от оврага и леса
И дальше, к спокойной реке,
Среди травостойного лета
Пройдешь босиком, налегке.

В июне на жарких откосах
Прозреет цветами трава,
Метелки пойдут и колосья,
Звездчатка, жабрей, дивола.
Смотри, сколько разных растений,
Пчела притаилась и жук,
Из звона и хитросплетений
Зацветший слагается луг.

Татьяна ГОРИЧЕВА

Из писем к духовному брату

МОНАСТЫРЬ ПЮХТИЦЫ

„ ... Христос посреди нас, брат мой!

Только что кончилась всенощная. Сегодня весь день писала исповедь, написала уже восемь страниц, но это еще половина. Только здесь, в премирной тишине обители, под покровом Божьей Матери, смогла я подробно вспомнить о своем прошлом, смогла взять себя в руки и написать.

Монастырская служба! Особенная. Не каждый выдержит ее. Она безжалостна ко всем нашим человеческим слабостям, она не терпит полумолитв, получувств, полусерьезности. Нужно бросить всякую лень и самосожаление и стоять, стоять, стоять. Невольно откроешь в себе невидимые внутренние силы, и забываешь, сколько часов прошло — три, пять, семь.

Сегодня я по неведению пошла в правую часть храма. Там как раз стояло несколько десятков монахинь. Я попала в середину между ними, и уйти было уже невозможно. Они клали глубокие поклоны, клали с особой, неизъяснимой грацией, то все одновременно, то вразнобой, и в их движениях сквозила отработанность и пластика, и они дивно

перекликались с пением сестер из монастырского хора.

Немного о монастыре. 300 лет тому назад эстонские пастухи нашли на том месте, где сейчас источник, икону Успения Божьей Матери. В конце XIX века возникла женская обитель — Пюхтицкая, — над равнинной, болотистой местностью вознесся красавец-храм. Церковь Успения — шедевр архитектуры, это признано и государством.

Почти на каждую вечернюю службу приезжают туристы. Стоят, сбившись у самого входа, глаза большие, удивленные, многие из них в первый раз в храме Божьем. Матушка Афанасья рассказывала, что одно только посещение храма приводит людей к вере. Ныне глубоко верующий Саша три года тому назад впервые как турист зашел в храм и с тех пор стал христианином.

21.1.79

Опять пишу вечером. О многих паломниках хотелось бы рассказать особо. Две старушки рядом со мной, кажется, не делают больше ничего, как только молятся. Мать Афанасья выключает нам свет, так они всю ночь перед лампадкой, на коленях, а в пять часов — на службу. Сама мать Афанасья (гостиничная) — источник неиссякаемой любви. Обнимет нас и воскликнет: „Сестры, как хорошо, что мы пришли ко Христу!“ В такой радости воскликнет, как будто только сегодня утром уверовала в Бога.

И дети здесь прекрасны и несуетны. Никогда бы не поверила, что на свете живут такие существа, как пятилетняя Антонина. Они приехали с отцом-священником откуда-то из глухой деревни. В ней нет никакой развязности и избалованности. Она всегда очень серьезна и так любит Бога, что всеми

здесь руководит (как маленькая Богородица в храме). Пили вечером чай и забыли прочесть „Отче наш”. Антонина встала и напомнила нам об этом, сама прочла и „Отче наш”, и „Богородицу”, спела тропарь „Во Иордане...” (очень трудный). В храме она стоит, как свечечка. У себя в деревне уже поет на клиросе вместе с мамой.

А я? Как глубоко и остро чувствую я, что я еще совсем мирской человек.

Если бы не был Господь Наш Господом милующим и воскрешающим мертвых, впала бы я в беспросветное отчаяние. Все во мне от мира, ничего не умею, ни в мелочах, ни в главном.

Например, вхожу в трапезную, вижу людей за трапезой и останавливаюсь в нерешительности. Что сказать? „Приятного аппетита?” (Это светское правило, каким пошлым оно кажется здесь.) А нужно говорить: „Ангела вам за трапезой”.

Вместо „спасибо” говорят: „Спаси Господь”.

В конце дня просят прощения друг у друга.

Да и откуда я могу что-либо знать? Кто меня учил? „Нужно готовиться к длинному пути”, — сказал мне старец Иоанн, и я уже безмерно рада оттого, что стою в начале этого пути.

Каждый день, по послушанию матери Афанасьи, читаю псалтырь. У нее умер отец, она дала обет в течение сорока дней каждый день прочитывать всю псалтырь. Но у нее много других дел, поэтому она поручила этот обет мне.

И вот я стою перед иконой Божьей Матери в ее келье и уже довольно-таки быстро читаю вечные глаголы. Впервые нахожусь в монашеской келье. Она маленькая (6 метров), стоит кровать, тумбочка, в двух углах все завешено иконами. Вообще кажется, что в келье находятся только иконы. Совсем нет впечатления „обжитости”, но нет и проти-

воположного впечатления „неуютности”: в келье приветливо и тепло. Над кроватью висит ковер, яркими и бьющими в глаза красками (как у фовистов) нарисован гроб, а около гроба — монах и смерть с косой. Над гробом написано: „Этого никто не избежит”.

Иногда я очень устаю и начинаю при чтении менять позу, переступать с ноги на ногу, но тут же мне становится стыдно и страшно — ведь на меня смотрят со стен и Спаситель, и Богородица, и все преподобные.

Здесь, в монастыре, я получила от Господа еще один дар — дерзание.

Я написала философскую статью, очень легко, не боясь своей мысли и прошлого. После моего обращения я очень боялась творчества, которое, казалось мне, противоречит истинной нищете Духа. Боялась еще и потому, что творчество мое всегда было связано с тщеславием и самолюбованием. Здесь же я пишу и совсем не думаю о себе, слова быстро ложатся на бумагу, нет ложных мучений и рефлексии.

Что вот стало ясно мне: когда на первом месте молитва, тогда Господь дает и все остальное („Ищите прежде Царствия Божьего, все остальное приложится вам”). Чем больше я молюсь Творцу, тем больше люблю Его творение. Удивительно, молитва не уводит от мира, а возвращает в обновленный, преображенный мир.

24.1.79

Узнала сегодня, что святитель Иоанн Кронштадтский пророчил о нашей обители: она будет стоять до конца, она выстоит и выживет в годы самых мрачных испытаний.

И правда, под чудесным покровом Царицы Не-

бесной распустился этот дивный цветок среди безжизненной, одичалой пустыни. За ее крепкими стенами беснуется и сходит с ума мир... а здесь — льются слезы, приносится покаяние за весь мир, творится непрерывная молитва обо всех.

Постепенно обучаюсь истинно христианскому стилю жизни и языку. Сколько значения в том, что здесь на „спасибо” не говорят „пожалуйста”, а говорят „во славу Божью”, что здесь, прежде чем войти в комнату соседа, говорят: „Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!”

И так на каждом шагу, при каждом вздохе и выдохе.

25.1.79

Сегодняшний день значил для меня очень много. За что Ты так щедро окормляешь меня, Господь! Нет пределов Тебе ни в чем!

Начну по порядку. Во-первых, исповедь и Причастие.

Враг насылал на меня такие искушения, что я сегодня чуть ли не лишилась Причастия: вчера вечером сильно наелась, много разговаривала с одной женщиной, не прочла причастных молитв. Сегодня утром, встав в пять часов утра, почему-то пошла на кухню „допить вчерашний кофе”, опомнилась и повернула назад, и еще, еще, еще (стыдно и писать).

Все-таки, попросив благословения у мученицы Татьяны и Пречистой Девы, пошла последней на исповедь...

Исповедовал иеромонах, архимандрит Г.

Впервые я исповедовала грехи, сотворенные за шесть лет моей блудной жизни. Было очень трудно. Сначала мешал стыд, потом слезы. Но исповедь состоялась! Душа моя раскрыта теперь Богу до конца. И бесы прошлого не посмеют больше мучить

меня. Монах с простым, почти грубым лицом сказал: „Да, тяжелые грехи”. И назначил мне эпитимию: пять раз в день читать „Богородице, Дево, радуйся” с земным поклоном. И это на протяжении четырех лет.

Сподоби мя, Господи, поработати Тебе без лености, якоже поработах прежде сатане льстивому!

Сегодня в храме, подняв глаза кверху, я увидела Ее изображение на воздушных, Ее, окутанную светящимся облаком, окруженную таящимися в потоке света Ангелами. Она была такой, какой Ее искала моя молитва. Ее образ был чем-то мерцающим в моем сознании, незавершенным и все-таки единым, сотканным из десятков иконных ликов.

И вот теперь Она Сама, Живая, спускалась ко мне.

Пресвятая Владычице Богородице, свете мой, надеждо и покрове, не остави меня.

Проснулась ночью от какого-то ужасного сна (в монастыре меня всегда преследуют нечистые сны), увидела Ее икону у себя над головой, вспомнила, что я в обители, и чувство *дома* посетило меня. Этого чувства я никогда не знала. Мне даже захотелось умереть — такую завершенность и полноту обрело существование.

Здесь в шесть часов утра начинается полунощница. Читают молитвы, псалтырь, акафистник. Читают бесстрастно. Монашеские голоса. Как люблю их! Очищенные, профильтрованные молитвами, постом и бдениями, они, кажется, долетают до нас из другого мира.

В храме темно, ничто не отвлекает от внутренней строгой молитвы.

В семь часов начинается литургия. После внешне

предельно обедненной и монотонной полунощницы песнопения литургии кажутся какой-то неслыханной роскошью. Даже странно вначале. Но постепенно дерзновенно раскрываешься Богу здесь. Это — брачный пир души, ее царственное сыновство.

Вечерние службы совершаются только при свечах. Колеблющиеся полосы света выхватывают во мгле холодно-белые стены храма и царственное золото иконных окладов. Когда после службы монашеский хор спускается с клироса, и встает в два ряда напротив иконы „Успения”, и начинает петь „Царица моя преблагая, надеждо моя, Богородице”, то это не пение уже, а плач, и печаль, и вопль — „зриши мою беду, зриши мою скорбь”.

Здесь вся многотрудная жизнь и судьба приникших к полу простых женщин... какая в этом боль, какая правда! Редкий и чистый алмаз — народная вера. Только в Церкви, среди этих святых, исстрадавшихся душ я поняла, что такое „народ”, и почувствовала, что сама вошла в него, в этот нищий и блаженный народ Божий.

11. 2. 79

Наша обитель устроена Господом в таком красивом месте, украшена изумительными храмами, одета в волшебные снежные ризы — робким туристам кажется, что их перенесли в сказку. Туристы (приезжают на автобусах, чтобы посмотреть памятник архитектуры) ведут себя очень тихо и даже благочестиво. Гостиница матери Афанасьи (где я живу) находится на горке. Сегодня был смешной случай — одна девушка из туристок заглянула к нам в окно и говорит своей подруге: „Смотри, а они на кроватях спят”. Самые экзотические представления у нашей молодежи о монашеской жизни.

Приехала группа пожилых женщин, откуда-то из Сибири. Несколько лет копили деньги на поездку в монастырь, читают по слогам Евангелие, которое тоже в первый раз держат в руках, плачут.

Таких красивых лиц, как в монастыре, я еще нигде не видела. Многие поражают выразительностью и чистотой линий, кажется, что сошли с полотна Сурикова, есть и совсем бестелесные, сотканые из одних духовных эманаций. Чистая икона, не лицо.

Брат мой, как подумаю, в каком месте сподобил жить меня Господь! Уже целый месяц не вижу пустых или любопытных глаз, не слышу большого смеха, не боюсь смотреть на человека, говорить с ним, не боюсь выйти на улицу из кельи или из храма — как много это значит, какие раны залечивает! Какие силы дает!

12. 2. 79

Так устроил Владыка судьбу мою, что не остается мне ни минуты времени на праздные мечтания и бессмысленные деяния — весь день за аналоем, читаю псалтырь, предстою перед иконой Спасителя. Иногда последние слова молитвы становятся и последним проблеском моего сознания. Произнося их, я, как убитая, падаю на постель и засыпаю.

Дивно устроляет мои дела Господь! Дивно ведет меня Божья Матерь! Так именно и нужно воспитывать и окормлять меня — чтобы ни минуты свободной, ни секунды собственной. Я в доме Отца моего и повторяю за Псалмопевцем: „Изволих приметатися в дому Бога моего паче, нежели жити мне в селениях грешных”.

Чудесно внимание ко мне монаха, которому исповедовалась. Так стыдно было от грехов своих, что мне казалось — этот, еще молодой, игумен,

узнав о моих грехах, не заговорит со мной больше никогда. А вот теперь вижу, что все наоборот — как будто и не было моего страшного рассказа. Мы часто беседуем, и я удивляюсь благам этой новой дружбы.

Есть здесь одна нищенка. Она — бывшая учительница. Проповедовала в прошлом атеизм. Ее духовник дал ей послушание — привлечь к Богу столько же душ, сколько раньше увела от Бога. Но теперь она не может преподавать. А нищенку, убого одетую и жалкую, ее никто не слушает. Очень она сокрушается, что не в силах выполнить послушания.

Я подумала о себе. Сколько и я перепортила людей своими безумными речами. Смогу ли я искупить грех своих прежних легкомысленных речей?

Необыкновенно присутствие Божьей Матери в каждом дне монастырской жизни. „Здесь люди ничего не делают, — сказала мне одна монахиня. — Здесь все делает Божья Матерь”. Рассказывают, что Пречистая не раз появлялась и благословляла монастырь. Называют обычное время Ее прихода — четыре часа утра. В таком переизбытке явлена здесь сила Ее любви, что, кажется, Она идет рядом. Пресвятая Владычица не оставляла меня и у самых ворот монастыря, когда я выходила, чтобы сесть на автобус. Я ничего не желала и не хотела в те мгновения — было ясное сознание полноты жизни, крепости, силы. Только немного расстроилась, что священника не нашла, чтобы благословил меня в путь. И у самых ворот я встретила иеромонаха, исповедовавшего меня. Он благословил меня Ее именем. До сих пор помню, какие сияющие, искрящиеся голубиной у него глаза.

Выйдя из монастыря, пошла к источнику со святой водой. Здесь видели Ее когда-то пастухи, здесь ступала Ее легкая стопа.

К источнику съезжаются больные. И вот представь себе следующую картину: заснеженный, заиндевелый лес, двадцать градусов мороза, неглубокий колодец с ледяной водой. Там, по очереди, купаются женщины. И не знают здесь случая, чтобы кто-то простудился. Напротив, тысячи случаев исцелений. Все это делается без всякого ажиотажа, без особой способности к риску и смелости. Они входят в ледяную воду так же просто, как если бы принимали ванну у себя дома. „Вера твоя спасла тебя”. Вот подлинный реализм дерзания. Призрачен и нереален не этот мир чуда, а тот, где действия рассчитаны. Фантастичен мир обыденности, где все стоит на своих местах, и реален — где горы сдвигаются в море. Помнишь, как наш Спаситель почти раздраженно обращался к этим больным своим неверием людям: „О род слабый и неверный, доколе буду Я с вами!” Ведь Ему-то, как никому другому, было известно, где Реальность, а где сказка.

Смешно и грустно, когда Кьеркегор в „Страхе и трепете” рассматривает поступок Авраама (принесение сына в жертву) как проявление высшего абсурда и предлагает всем „напрячься” до этого абсурда, чтобы стать христианами.

Все это — романтика, приемлющая христианство как нечно невозможное, ненормальное.

Вера же проста и непреложна. Она не мучается парадоксами.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ

18.3.79

Возлюбленный о Господе брате!

Каждая поездка в монастырь была для меня новым откровением.

И каждый раз я получала по милости Божьей новое знание о соотношении мирской и монастырской жизни. Это знание имеет для меня колоссальную ценность, поскольку, как ты знаешь, монастырь — не сюрреальная надстройка над миром. Напротив, монастырь дает норму всякой христианской жизни, будь то жизнь в скиту или во дворце.

Так вот, первые мои поездки в монастырь (под Ригой) состоялись три года назад, когда я только-только входила в христианство. Помню, как бросалась в монастырскую жизнь, как в пропасть, зажмурив глаза и забыв обо всем. Помню, как разителен был контраст между тем, как я жила, смотрела и чувствовала в монастыре, и тем, что я делала в миру. Помню, как страшно мне было покидать монастырь, и каждый раз я спрашивала себя: куда я еду? зачем? — и каждый раз я задыхалась от безобразия мира, когда возвращалась из монастыря.

И только в эти, последние, месяцы я немного стерла границу, разделившую мою жизнь на монастырь и мир. Я уже не прыгаю в монастырскую жизнь, как в глубокий колодец, а вступаю в нее осознанно. Монастырь только продолжает мою жизнь и молитву в миру. Все яснее чувствуется непрерывность религиозной жизни, блекнут и испаряются болезненные контрасты, и все чаще получается так, что монастырь не настраивает меня против мира (как это было раньше), а дает мне откровение о мире, заставляет любить творение Божье. Знаешь, брат, в последний раз я ощутила такую новизну и совершенство всех „мирских” занятий, открыла красоту людей и вещей, что мне казалось: я присутствую в мире первого дня творения, и этот мир „хорош зело”.

Конечно, этот взгляд далек от пантеизма, и он

возможен для нас только потому, что Господь охраняет наши души молитвой. Можно сказать, что такая любовь к твари появляется как благодать Божья, привлеченная постоянной молитвой.

19.3.79

Замечательно, что Спасо-Преображенская пустынь (несколько маленьких строений, две церкви) находится в лесу. Случайно набредаешь на нее, находишь среди сосен почти неожиданно: нет здесь ни высоких монастырских стен, ни устремленных в небеса куполов. Спрятана она среди дикого леса от человеческого любопытства, и это сразу же настраивает на внутреннее, безмолвное и созерцательное.

А храм! Их два здесь, но особенно люблю маленький, деревянный. Сверкает изнутри, как жемчужина. В таком храме можно служить только самым тихим, самым неслышным голосом. Чтобы не спугнуть Ангелов!

Это — престольный храм преп. Иоанна, писателя „Лествицы”.

Опять я поняла, что ничего не понимаю и ничего не достигла в молитвенной жизни. С некоторой даже уверенностью зашла в храм (как в гости к хорошим знакомым) и ... была ниспровергнута, побеждена, пристыжена.

О, если бы ты знал, что такое служба в Спасо-Преображенской пустыни! Как хотелось умереть, раствориться в этой молитве, другой мир присутствует здесь во всем его реализме, во всей щедрости и многообразии.

А внешне, на мирской слух, служба может произвести странное впечатление: слабенькие, тонкие голоса монахинь, никакой выразительности и выра-

женности, никакой возможности даже выразиться внешне.

Приехав в восемь часов утра (служба уже кончилась), я попросила монахинь дать мне какое-нибудь послушание. И Господь дал, да еще какое! Украшать храм Божий цветами, а потом — у меня даже дух захватило — стирать пыль с икон. И я более стирала эту пыль поцелуями и слезами.

Впервые я соприкоснулась с миром предметов святых, а раньше не ценила в мире ни одной вещи!

Я — в послушании у матери Анастасии. Она рассказала мне об обители.

Пустынь находится под покровительством преп. Сергия Радонежского. Она основана 78 лет тому назад. Основали ее параллельно с Рижским монастырем две богатые сестры — мать Сергия и мать Иоанна. Мать Анастасия двенадцать лет монахиня. Спрашиваю: „Трудно попасть в монастырь?“ Ответ: „Невозможно“. Главное — невозможно прописаться.

20.3.79

Впитываю в себя каждую деталь, каждую мелочь, каждую черточку монастырской службы. Как читает о. Евстафий, как он осторожно и кротко начинает „Величаем, величаем Тя...“, как замирающим голосом произносит: „Слава Тебе, показавшему нам Свет...“ Как поют сестры: они поют по-детски чисто и не по-детски свободно. Такой свободы (не удали, не шири) пения не услышать нигде.

Меня поселили в чудную келью, где нас двое, я и Клавдия (35 лет), еще одна паломница. Клавдия верит фанатично, страстно. У нее множество предрассудков. Она указывает мне, что нельзя спать без платка, что Евангелие можно читать только стоя,

что после причастия нужно доедать свою порцию до конца и т. д.

Она какая-то безудержная, никакой неподвижности и заостенелости нет в ней совсем. То плачет, упав перед иконами, и восклицает: „Погибну, погибну, спаси мя, Матерь Божья”, то как солнышко освещает всех своей добротой и радостью: „Сестры, как чудно устрояет все Господь!”

21.3.79

Вечерняя служба. Пришла в храм почти первая. Стою, творю про себя Иисусову молитву. Справа и слева от меня оказались две женщины, которые вчера приехали из Ленинграда. Слышала, что они кликуши.

Брат мой, я видела адские муки! Как только запели „Свете тихий”, мою любимую (чтобы услышать ее, готова квадриллион километров во мраке ползти), обе кликуши вдруг закричали не женскими, и даже не мужскими, но какими-то нечеловеческими голосами: „Вот замолилась!”

Казалось, что вокруг меня кипит адское пламя, где пытаются грешников самыми разнообразными муками. Боже, как опасно ходим, как обманчив покой жизни! Над какой пропастью висим ежесекундно!

Потом они немного затихли и вновь превратились в тихих, смиренных богомолков, но это пока не начали читать Акафист Кресту Господню. Обе женщины кричали почти непрерывно: „Хватит, опять Крест, не могу больше, пощадите”, когда же в тексте попало слово „дьявол”, обе женщины завопили нечеловеческими голосами, так что почти не слышно было хора: „О, страшно, о как страшно!” — и долго дергались всеми членами и бились об пол. Одна из женщин порой выкрикивала что-то, что

явно относилось ко мне. Мы стояли рядом, на коленях, касаясь плечами друг друга (в храме очень тесно). „Как усердно замолилась, да не грешна ты, дура!“ — завопил грубый, звериный голос, когда мое сердце разрывалось на части, потому что послышалось „Слава в Вышних Богу...”

Но к голосам этим не нужно прислушиваться (ведь он — „отец лжи”), я поняла, что это грех, и старалась не обращать на них внимания.

Нигде более рай и ад не присутствуют так одновременно, как в монастыре. Святость, радость и небесная чистота, а рядом — страшная плененность человека грехом, пасть геенны.

23.3.79

Матушка Серафима дала мне послушание: переписать правила для монахинь. В связи с тем, что в монастырь хотят попасть почти все паломники и паломницы, а возможности нет, то их тайно постригают в миру.

Монашество в миру, — об этом, кажется, еще старец Силуан говорил, — станет монашеством последних времен. Келейное послушание у них остается столь же строгим, хоть они и не бросают своих обычных, мирских занятий. Я знаю одну учительницу, тайную монахиню, и одного врача, который недавно постригся.

24. 3.79

Сегодня пишу тебе уже из Риги в ожидании поезда на Ленинград. Уехала из монастыря вместе с кликушами, Антониной и Тамарой. Очень я их любила. Обе они из деревни под Ленинградом, ходят в наш храм, но там их бесноватость проявляется очень слабо, лишь судорогами. Здесь, в монастыре, говорят они, „он” заговорил впервые. Чем

более свято место, тем больше их мучения, но тем больше и очищение. Когда мы отъехали от монастыря, они стали говорить, что чувствуют возрастающую тяжесть, „ноги, как чугуном, наливаются”.

Тамара (50 лет) — простая женщина, полуобразованная, вся жизнь ее прошла в непрерывных заботах: дети, муж, работа. Она очень красива — глаза обведены страданием, голос медлительный, глубокий. Поражает ее деликатность, воспитанность, настоящий христианский такт. Она более больна, чем ее подруга, и болеет семнадцать лет.

Антонина (за 60) — очень обыкновенная деревенская „баба”. Немного болтлива, немного суетна. Когда на нее „находит”, она обретает дар ясновидения, в обители она обличила несколько человек. Обличение происходит так: „Я вдруг увидела, что у всех лица светлые-светлые, а у нее — темное, прямо черное”. Тогда голос, сидящий в ней, закричал: „Худая, злая баба!” Иногда этот голос предсказывает, и все сбывается. Женщина понимает, что дар свой она получила от лукавого, но тем не менее гордится им („вот в этом-то и грех”, — сказала я ей). Злая сила, сидящая в ней, действует совершенно отдельно от ее воли. Когда „он” кричит, она затыкает себе рот, но „он” прорывается и кричит нечеловечески громко.

Приехали мы в Ригу, и полюбила я своих подруг так, что и сказать нельзя. В Риге хотелось купить все цветы и подарить им. Как безразличны они ко всему, кроме Бога, как нуждаются в Нем, как смиренно переносят свои страдания („Да разве мы можем жаловаться, вот Он действительно страдал!”). Нищие, оборванные, они путешествуют из монастыря в монастырь, питаются лишь черным хлебом и водою, а в день Причастия и вообще ничего не вку-

шают, спят на вокзалах и в лесу — и за все благодарят Бога!

В семь часов вечера они уезжают в Печоры („Там старец М. бесов отчитывает“).

25.3.79

Как хотелось бы мне передать тебе те редкие таинственные картины, которые застывают в памяти навсегда. Вот что осталось: утро, пять часов, еще полумрак. Сквозь сон слышу колокол, вскакиваю, перекрестившись, бегу. Все уже в храме. Пробегаю между высоких, до небес, шумящих сосен. Вот и храм. Бросаю взор в окно: сквозь мерцание свечей вижу головки в черном. У них свой, особый наклон, в котором и отрешенность, и тайна. Они поют, я не слышу, они уплывают все дальше и дальше, но они существуют, Боже, они существуют, существуют.

И таких моментов много, как жаль, что не умею их описать.

ПЕЧОРЫ

5.6.79

Преподобный отче Корнилие, моли Бога о нас!

Пишу тебе, сидя на высоком холме, вровень с золотыми куполами собора Архистратига Михаила и Никольской церкви в Печорах. Внизу — глубокий ров, могучая крепостная стена, за стеной — другой мир, в существование которого трудно поверить.

Вчера приехала в Печорский монастырь. Помолилась Божьей Матери, и мгновенно Она указала мне на двери одного домика, совсем близко от монастыря. Я постучалась со словами: „Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя“, мне открыла монахиня и поселила у себя.

И вот я у святого колодца. Кругом — та Русь, которую можно увидеть только на картинах: одухотворенные женские лица, кроткие и светлые. Рядом со мной разговаривают двое — молодой человек в лохмотьях, с красивой белокурой и кудрявой головой и мягким, почти женским голосом (таких называют у нас блаженными) — и суровый седовласый монах.

Можно подумать, что попала я в XIV столетие, что не было всех последующих, с их испепеляющей суетой и одержимостью.

Но эти „исторические” различия пришлось оставить, когда открыли Пещеры, и мы (несколько богомольцев) пошли вслед за седовласым старцем в абсолютный физический мрак. Мы попали уже не в глубь прошедших веков, а в вечность. Я помню свои ощущения от кавказских пещер (где нет мощей), какой ужас объял меня тогда! Как ясно я ощущала дыхание смерти! А здесь — наоборот. Я могла бы заблудиться, затеряться в длинных и сложных лабиринтах, но я не могла бы испытывать не только страха, но и беспокойства — все мое существо было охвачено молитвой к тысячам погребенных здесь святых угодников.

Чудесно, что старец ничего не говорил, не рассказывал. Только отслужил заупокойную службу. И мы, стоящие со свечами в руках, вторили ему тихими голосами. „Надгробное рыдание творяще песнь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя”. Последние недели я сподобилась немного глубже проникнуть в смысл заупокойной службы. Скажу даже больше: общение с тем миром мне временами кажется более живым и полнокровным, чем общение с настоящим. Стало ясно, что те, усопшие, обретают заверченный образ, лик, а многие праведники (как писал кто-то из свя-

тых Отцов) получают уже и нетленную плоть — и это до всеобщего Воскресения.

Стало ясно, что усопшие нуждаются в наших молитвах, призывают нас: их призывы очень настойчивы. Здесь, в пещерах, присутствие святых угодников и подвижников становится неопровержимым духовным фактом.

Как первохристиане, шли мы со свечами в руках по темным лабиринтам.

Остановились перед Распятием в маленьком подземном храме Воскресения. Здесь служат раз в году — на Пасху. Заупокойное пение оборвалось и естественно перешло в гимн Воскресению: „Воскресение Христово видевше, поклонимся Господу Иисусу, Единому Безгрешному...”

Приложились ко Кресту.

Было среди нас и две-три кликуши. Они реагировали на молитву не только душой, но и телом, припадая всеми своими членами к стенам пещеры, притягиваемые к ним как бы магнитом. Уж эти-то несчастные знают слишком хорошо, что пришли во врачевницу.

В шесть часов вечера — служба в Успенском храме.

Помнишь? Полумрак, таинственное и тайное мерцание лампадок и свечей, разбросанные, отделенные друг от друга пространства храма, пение, которое звучит совсем по-разному в зависимости от того, в каком закоулке храма ты молишься. Монастырское пение! Голоса протяженные, уносящиеся в другой мир. Голоса бестелесные, утратившие выразительные музыкальные краски, целомудренные и стыдливые. Только такими голосами можно петь „Свете тихий”.

6.6.79

Здесь, в Обители, кажется, собран весь свет Православия. Необыкновенно красивые и строгие монахи. Много среди них молодых, с иконными, „отмоленными” ликами. Среди паломников есть выдающиеся, очень выразительные православные „типы”.

Замечаю, что в течение всех служб моих я оказываюсь рядом с двумя совершенно разными людьми. Один — юродивый, в старом плаще, с необыкновенно красивым лицом. Что-то библейское и одновременно чисто русское в нем. Длинные, вьющиеся волосы ниспадают на плечи, глаза — кроткие и немного печальные. Из молитвы он не выходит. Вне молитвы его и представить себе невозможно.

И рядом со мной всегда оказывается и другой человек: из бывших хиппи, может быть, йогов (вижу по тому, как он держит спину). Тоже длинные, расчесанные на прямой пробор волосы, одежда хиппи, в руках четки. Он непрерывно творит Иисусову молитву. Лицо аскетическое, очень худое, но не светлое, как у юродивого.

7.6.79

Приехал в монастырь один из членов нашего ленинградского семинара — Саша. Он впервые в монастыре. Человек он не церковный и даже не верующий (агностик). Настроен позитивистски. И вот я была свидетелем его удивительного перерождения здесь. Мы вместе попали на исповедь к о. О. (К величайшему духовнику и усмирителю бесов привел нас Господь.) Мы стояли в ожидании своей очереди четыре часа. Радовало меня, что Саша вытерпел все и подошел последним. Отец О. сказал ему: „Хорошо, что смог выстоять”. Сказал, что наука не дает истинного ведения, что есть ад, есть геенна. Безошибочно определил основное заблуждение Саши

(при этом Саша молчал и ничего о себе не рассказывал) — неверие в мир духовный; о. О. сказал ему, чтобы Саша пришел на изгнание бесов. И в мелочах даже понял все сразу. Запретил Саше выпивать (а у него есть такая склонность). Саша ушел с исповеди в слезах.

Саша был на изгнании бесов. Пришел оттуда с совершенно обновленным, молодым, очищенным лицом.

„Я видел ад”, — сказал он. Дай Бог, чтобы память об этих днях стала началом его духовного пути.

Дни проходят как одна непрерывная служба. Нет ни усталости, ни каких-либо других потребностей. Ни есть, ни спать не хочется.

Вижу в храме нашего старца, слышу его удивительный голос — такой сильный, округлый. Только в конце восклицания он как-то слабеет, истлевает, становится кротким до беспомощности. Всегда плачу, когда слышу его.

Вчера слышала, как наш старец говорил с одной женщиной. После службы к нему, под благословение, выстраивается целая толпа. И вот подошла женщина и стала жаловаться, что какая-то другая паломница все хочет ее околдовать. Наш старец слушал-слушал, да и говорит: „Я семьдесят лет живу на свете и ни одного плохого человека, кроме себя самого, не встречал, а ты мне про колдуний говоришь”. Каждый раз поражаюсь мудрости его ответов.

9.6.79

Родительская суббота перед великим праздником Троицы.

Служба в большом храме Архистратига Михаила. Посреди храма — длинные столы, завалены поминальными хлебами. Батоны хлеба выглядят так тор-

жественно, на каждой булке — горящая свеча. Иногда солнце проникает сквозь купол собора, и свет свечей меркнет, а храм холодеет. Потом солнце уходит, и все свечи вспыхивают разом, как горячая молитва об усопших.

Как всегда, мы стояли трое рядом: юродивый, бывший хиппи и я.

Мне пришло в голову, что мы образуем какой-то молитвенный круг.

Странно, что мне ни разу не пришла в голову мысль познакомиться с хиппи или юродивым — но что может быть полнее и содержательнее молитвенного соприсутствия?

Теперь опишу главное событие, которое произошло со мной в день Святого Духа.

На вечерней службе ко мне подошла женщина и попросила следовать за ней. Вскоре я оказалась в монашеской келье и сподобилась великого утешения — впервые в жизни совсем близко и непосредственно видеть и слышать нашего старца.

Говорит он быстро, очень конкретно и ясно. Речь при этом богата образами, метафорами. Это одновременно и очень простая речь, и речь образованного человека — встречаются термины, иностранные слова. Первое впечатление — передо мной преподобный Серафим Саровский. Близко-близко придвигает он свое лицо к моему и смотрит прямо и ласково из-под очков. Кажется, что взгляд его говорит: „Что ты, радость моя?“ (Так говорил преподобный Серафим.)

Времени у нас было немного (ведь в такой великий праздник много забот), но старец успел сказать мне самое главное. Нужное и утешительное. Он внимательно анализировал мою исповедь (которую я послала ему месяц тому назад) и вел разговор именно на эту тему.

Но все по порядку.

„Ваш путь — это, несомненно, путь от земли к Небу. У Святых Отцов он назван: возрождение через падение. У вас пытливый и критический ум, вы переживали одно умственное увлечение за другим. Теперь вы должны отобрать из всех своих прошлых познаний нужные и добрые зерна. Знаете, как делают варенье? Самую гнилую ягоду выбрасывают, второй сорт идет на кисель, а лучшая ягода используется для варенья. Подражайте свв. мученицам Екатерине и Варваре. Благословляю вас на богословие”.

Большая часть разговора была посвящена браку. (Не знаю, почему, ведь в исповеди я говорила о желании стать монахиней.)

„Зачатие — великая тайна и священнейшее событие. Не зря наша Церковь празднует день зачатия Богородицы, день зачатия Иоанна Крестителя. Зачатие должно быть окружено молитвой. Соитие двух людей должно венчать долгий путь их духовного сближения и полного единения в Иисусе Христе. Только когда двое смогут видеть друг в друге Бога, только когда они смогут день и ночь сидеть рядом друг с другом, смотреть друг другу в глаза, не испытывая никаких нечистых помыслов, они достойны стать мужем и женой. Всякое прочее сближение станет позором и перед людьми и перед Богом. Вы можете выйти замуж, но только за духовно близкого, за духовно равного”.

— А как же монашество? — спросила я. — Могу я надеяться хоть когда-нибудь стать монахиней?

— Что вы, не бойтесь ничего. Монашество — это *просто одежда*, — сказал он и потрогал себя за рукав, — только одежда. Если Господь не пошлет вам брака, принимайте монашество.

Кончая свои наставления, старец сказал: „Вот то

немногое, чем могу помочь вам. Главный хлеб дает вам ваш духовник. Я же прибавляю лишь крохи. Помолитесь обо мне”.

Сказал еще вот что: „Я знаю четырех Татьян. Одну знают все, другую — друзья, третью — она сама знает, четвертую знает Бог. А нужно, чтобы была только одна Татьяна. Нельзя, чтобы слиток золота рассыпался в песок”.

Главное ощущение от старца — непридуманная, деятельная, неистощимая любовь. Утешение и мудрость, рассудительность и реализм и вместе с тем высота и почти недостижимость идеала. Он требует высшего, и это высшее предельно просто и возможно („С Господом Иисусом Христом все возможно”). Образ нашего старца постоянно у меня перед глазами, вся жизнь теперь проверяется им. Мне и стыдно за себя, и радостно, что я в Церкви, у которой есть такой пастырь.

Катакомбные монастыри

Рассказ монаха М. На вопрос о существовании катакомбной православной Церкви в СССР он, единственный из встреченных мною за многие годы представителей духовенства Патриаршей Церкви, ответил, что считает, что в шестидесятых годах, во всяком случае, катакомбного духовенства было не меньше, а может быть, и больше, чем в официальной Церкви, но вот прихожан у них мизерное количество, так как они в глубоком подполье и лишены всякой возможности окормления, а тем более привлечения паствы. Рассказывает, как однажды, еще в пятидесятых годах, приехал покойный митрополит Киевский Иоанн к Патриарху Алексию и жаловался ему, что в его епархии так много катакомбников.

В ответ Патриарх Алексей даже прослезился и сказал:

— Да вы должны Бога благодарить, что их у вас так много, так много подлинных молитвенников перед Господом за грехи наши, так много людей, не поклонившихся маммоне, как мы. Может, их молитвами и спасемся.

Затем в разговоре выяснилось, что под катакомбниками М. подразумевал не „тихоновцев”, как обычно думают. Себя М. тоже причисляет к бывшим катакомбникам, так как с тридцатых годов был келейником у епископа П., которого разыскивало НКВД, а верующие прятали его в землянке, специально вырытой для него. Землянка была двухэтажной: на одном этаже он жил, на другом была

часовня. Вел он переписку с духовными своими детьми (через верных людей) от Владивостока до Минска. НКВД допрашивало и пытало десятки людей, в том числе и М., но так и не смогло допытаться, где епископ П. Землянка же его находилась чуть ли не в центре большого города, а время было такое („ежевщина”), когда, думалось, что любой на допросе расколется. Епископ тайно постригал в монахи, а в 1943 г., когда гонения на Церковь временно прекратились, вышел из своего подполья и ушел с тайно постриженными им монахами на Тянь-Шань. Там они основали тайный монастырь, в котором было до 300 монахов. В 1951 г. монастырь обнаружили с вертолета. Всех арестовали. Епископ погиб в тюрьме, остальные монахи получили сроки; освободились лишь в 1956 г. Оставшиеся монахи поселились в одном из кавказских ущелий, где основали новый полутайный монастырь: местная администрация о нем знала, но закрывала на это глаза. Патриархия в Москве тоже знала о нем. Как и в Тянь-Шаньском монастыре, в этом тоже возносились молитвы за Патриарха Алексия, но официально монастырь не существовал, то есть был, по мнению М., катакомбным. Во время хрущевских гонений в начале шестидесятых годов монахов снова разогнали.

М., после нескольких арестов, обосновался в одном из больших городов Центральной России, где некая богомольная старушка завещала ему свой домик. Там он, опять же с молчаливого ведома местных властей, устроил скит, который так нигде и не был зарегистрирован. В нем он постриг десятки женщин и мужчин в тайное монашество. В течение всего этого времени он поминал в своих молитвах Патриарха и даже иногда наезжал к нему в Москву.

Вот в основном о каких катакомбах говорит М. Когда в результате хрущевских гонений и закрытия многочисленных храмов тысячи и тысячи священников остались без мест и без регистрации, подавляющее большинство их не отказалось от сана, а продолжало обслуживать духовные нужды верующих тайно от гражданских властей. Только считанные единицы из них порывали при этом молитвенное общение с Патриархией.

М. рассказывает, что подавляющее большинство тайных монахинь работает в больницах нянечками и санитарками, кто же из них образованней, — то и медсестрами. Дело в том, что пропускать литургию можно лишь в том случае, если оказываешь в эти часы помощь ближнему или спасаешь жизнь человека. Поскольку тайные монахи и монахини должны работать на гражданской службе, чтобы себя содержать, и вынуждены по этой причине пропускать богослужения, Церковь благословляет их на работу в больницах. По мнению М., в составе Патриаршей Церкви тайных монахинь и монахов не менее десяти тысяч.

Он же утверждает, что медицинская профессия — самая христианская в СССР. Называет фантастическую цифру: „70% врачей — верующие”.

Священник К. считает такую цифру высосанной из пальца, но при этом соглашается, что среди врачей больше верующих, чем, быть может, среди людей любой другой профессии в СССР. Рассказывает, как он обслуживает тайно больницу в одном из советских городов с миллионным населением в качестве ее неофициального духовника. Даже служит там тайно литургии по субботам. На эти службы верующие нянечки приводят верующих пациентов, которым они доверяют. Приходят и многие врачи.

Священник тайно соборует и причащает больных в этой больнице по вызову верующего персонала. Отец К. считает, что такая деятельность священников в СССР — не исключение.

Монах Е. рассказывает о своем приходе в Церковь и в монастырь. Был он неверующим, мечтал о поступлении во ВГИК, потому что всегда тянуло к красоте, особенно к красоте природы, в которой он чувствовал что-то сверхъестественное. Поехал в шестидесятых годах, после окончания средней школы и военной службы, сдавать конкурсный экзамен во ВГИК. По конкурсу не прошел. Вернулся домой, год готовился. Снова поехал, сдал. А день был прекрасный. Выбрался из Москвы подышать свежим воздухом. Настроение было радостное. И тут охватило его религиозное чувство под влиянием красоты природы. Кино и вся техника показались такими бранными, ненужными, что он поехал вместо ВГИКА в Загорск — поступать в семинарию. По конкурсу прошел, но во время встречи и разговора с ректором ему было сказано, что он как комсомолец принят быть не может: „Мы бы тебя приняли с удовольствием, да гражданские власти нас на этом режут, никак не пропустят комсомольца”, — сказал ректор. Е. начал доказывать, что он уже несколько лет не платит членских взносов, но ректор ответил, что без соответствующих справок и подтверждения от местного архиерея взять его не может. Пускай, дескать, достает справки и приезжает через год.

Е. вернулся в родной город. Епископ принял его и отправил на выучку к одному замечательному старцу, которому тогда всего сорок с небольшим было, иеродиакону Т., ученику ученика о. Иоанна Кронштадтского. Спустя некоторое время Е. со-

брал все справки для поступления в семинарию, но старец Т. отговорил: „Тебе для пастырства просвещение внутреннее надо, а семинария дает только просвещение внешнее”. Вот при этом старце он духовно возрастал, пока не был пострижен в монахи, а потом и рукоположен в сан священника. Старец же сам, еще будучи мальчиком, получил благословение от другого старца — ученика о. Иоанна Кронштадтского, — поступить и окончить семинарию, а затем и духовную академию, но не подниматься выше диаконского сана и служить только в селах. По окончании академии ему предлагали большие городские приходы с хорошим окладом и иерейский сан, но он каждый раз отказывался наотрез. По настоятельной просьбе с его стороны, он получил назначение в пригородное село в глубокой провинции. Тем временем в том же городе при Хрущеве городской храм взорвали, а город вырос, вообразив в себя село, в котором служит старец Т. Теперь это главный и единственный храм в этом городе. У старца много духовных детей, он наставляет в духовной жизни, обращает к вере в Бога. Власти всячески под него подкапываются, да из-за его популярности не решаются пока его удалить.

Молодой монах Н., двадцати двух лет. Красивый, атлетического сложения, с нежным, добрым лицом. Из деревни. Верующий с детства. В сельской школе был единственным, открыто исповедовавшим свою веру и носившим нательный крест.

„В селе молодому верить труднее, чем в городе, — говорит Н., — у всех на виду, не скроешь. Вначале приставали, дразнили, особенно девчонки. Ох, они приставали! Ну я врезал одной, другой. Зауважали! Больше никто не дразнил, так до самой армии никаких трудностей больше не знал”.

Еще в юности мечтал об иночестве. Слышал о тайных монашеских скитах в горах Кавказа. Отбыл военную службу, поехал прямо на Кавказ. Бродил там по горам и ущельям — искал тайные скиты. Ничего не находил. Но однажды попал на какой-то грузинский полуязыческий праздник. Перед церковью в горах грузины барашков режут, обносят их вокруг церкви, мажут их кровью дерева.

„Увидели меня, звали к себе, начали угощать. Я и рассказал им, что монахов ищу. Они — смеяться! Говорят, чтобы ехал в Загорск”.

Приехав в Загорск, узнал, что там в монастырь принимают только жителей Московской и Ярославской областей или через Троице-Сергиеву семинарию. И вот во дворе Лавры Бог послал ему встречу с одним монахом из полутайного нелегального скита, вроде того, что описывал монах М. Рассказал ему Н. о себе, тот и забрал его в свой скит. В скором времени Н. и постриг принял.

Вот несколько незамысловатых судеб простых русских монахов разных возрастов. Каждый из них прошел через свои „катакомбы”. Да иначе и быть не может в стране, где запрещена любая миссионерская деятельность, то есть фактически невозможен открытый приход в Церковь.

Идея о. Глеба Якунина получить незарегистрированное священство через рукоположение кандидатов епископами православной автокефальной Церкви Америки во время их визитов в СССР, по-видимому, не ограничена одной личностью о. Глеба. Приходилось пишущему эти строки слышать об этом от ряда современных священников Московской Патриархии. Они говорят, что такие разговоры в России в церковных кругах идут. Даже скорее мечты, чем разговоры. Хоть это было бы и неканон-

нично, но вот ссылаются на то, что у американских архиереев на это не меньше прав, чем у Московской Патриархии, сохраняющей пять десятков своих приходов в Северной Америке. Речь здесь идет о таком же тайном рукоположении, которое практиковал в свое время Патриарх Тихон, создавая таким образом параллельный запасной епископат на случай ареста официальных епископов.

В России ссылаются часто на пример баптистов, которые пользуются гораздо большей свободой, чем представители православной Церкви, вероятно, в значительной степени благодаря существованию баптистов-инициативников. Чтобы предотвратить слишком широкое распространение незарегистрированных полуподпольных инициативников, власти разрешают официальным баптистам регулярные сборы, на которых происходит даже нечто вроде настоящего голосования с провалом официальных кандидатов. Официальным баптистам разрешается и новые приходы открывать значительно чаще, чем православным.

„Вот, — говорят сторонники тайных рукоположений иностранными епископами, — если бы у нас возникли кадры незарегистрированных священников, а еще лучше — и епископов, то они не только смогли бы вести миссионерскую деятельность в России и обслуживать громадные просторы Сибири и Дальнего Востока, где вообще нет храмов, но вынуждали бы одним своим существованием власть предоставлять больше свобод и возможностей открытой части Патриаршей Церкви”.

По разговорам и беседам составил

П. О. Чаев

Эмблематика чисел в «Мастере и Маргарите»

Пожалуй, еще в большей степени, чем гоголевский „Нос”¹, роман „Мастер и Маргарита” относится к числу самых загадочных произведений русской литературы. Со времени своего появления в 1967 г. эта книга породила такое множество разноречивых и зачастую взаимоисключающих толкований, что единственный пункт, по которому исследователи достигли единодушия, это — не соглашаться друг с другом.

Иногда некоторые из этих толкований ставят под сомнение смысловое единство романа и деформируют сюжетные коллизии и психологические конфликты его главных героев. Так, существует точка зрения, что поиски аксиологически единой смысловой ткани романа беспредметны, поскольку Булгаков якобы „не утверждает, а скорее умышленно обесценивает ценности”². Тем самым вся сложность религиозно-философского содержания романа расплывается в своеобразном ироническом плюрализме. Е. Эткинд, затрагивая тему Пилата, утверждает, что ни Иуда, предавший Иешуа, ни Пилат, осудивший его на смерть, будучи целиком детерминированы их соответствующими общественными функциями, не могли поступить иначе³. А. Петелин, в свою очередь, считает,

что в столкновении трех идейных позиций, приведших к казни Иешуа, правы и Иешуа, и Пилат, и Каифа⁴. Если согласиться с этими мнениями, учитывая возможные уточнения и оговорки, то неизбежно релятивизируется проблема трусости Пилата и теряют свое нравственное объективное значение угрызения совести прокуратора. А это опять-таки не вяжется с той сюжетно организующей функцией, которую внутренний конфликт Пилата исполняет в смысловом и в формально-композиционном единстве всего романа. Наконец, В. Лакшин релятивизирует само отношение между Добром и Злом, Иешуа и Воландом. Он не только диалектически снимает онтологический дуализм между Добром и Злом в романе, но и, весьма спорно интерпретируя значение эпиграфа из гётевского „Фауста”, приходит к выводу, что булгаковский Воланд, в отличие от Мефистофеля, хочет добра, а потому приходит на помощь к честным и цельным, но „обиженным судьбой” мастеру и его подруге⁵. Отмеченные трудности интерпретации романа не могут не казаться исследователям достаточным основанием для отхода от „метафизики” романа и оправдывают желание заняться более благодарной задачей идентификации и методологически заземленного изучения его объективных образных, композиционных и повествовательных структур⁶.

Тем не менее сохраняет свою значимость замечание Сартра о том, что система употребляемых писателем художественных средств определяется его метафизикой, то есть общей суммой его представлений об онтологической природе действительности. Иными словами, выбор Булгаковым тех или иных стилистических приемов является не эстетически мотивированной игрой творческого воображения, как, например, у В. Набокова, а образным выраже-

нием внутренней потребности писателя выразить на языке искусства свой экзистенциальный опыт, свое отношение к самым главным вопросам человеческого бытия — добра и зла, жизни и смерти, человека и общества.

Однако сама по себе теоретически правильная постановка вопроса не гарантирует еще его правильного решения. Ведь и упомянутые выше расхождения в толковании романа явились результатом разногласий в оценке места и функции формальных элементов в сюжетном целом романа, преломленных через призму тех или иных литературоведческих теорий и личных взглядов исследователей. Иными словами, чтобы понять роман в органическом единстве формы и содержания, нужно постараться прочитать его глазами самого Булгакова.

Решение этой задачи может быть облегчено, во-первых, путем установления источников, которые Булгаков использовал, работая над романом; во-вторых, определением того, как Булгаков использовал эти источники. Не все источники могут быть установлены с безупречной достоверностью, так как не сохранились целиком ни личная библиотека, ни записные книжки писателя. Тем труднее установить источники нелитературного характера, и сказанное в особенности относится к тем источникам, из которых Булгаков почерпнул свою нумерологическую информацию.

Уже само упоминание символики чисел вызывает скептические возражения. Не вводит ли это нас в область безответственных и бездоказательных домыслов? Есть ли у нас вообще основания полагать, что Булгаков интересовался мистикой чисел и использовал ее в своих произведениях?

На второй вопрос мы можем дать утвердительный ответ. Исследованиями доказано использова-

ние Булгаковым в романе „Белая Гвардия” числовой символики, в частности, апокалипсического числа 6667. Число 13 в его демоническом и „несчастливым” значении употребляется Булгаковым в „Диаволиаде” и „Доме № 13”. Но если даже это и допускает законность постановки вопроса о месте числовой символики в произведениях Булгакова, тем не менее сохраняет силу первое возражение. Признавая возможное наличие в „Мастере и Маргарите” числовых символов, мы должны также располагать средствами различения между символическим значением числа и его употреблением в нейтрально повествовательной функции. Но такие средства у нас есть. Требуемое различие легко устанавливается, во-первых, когда Булгаков зашифровывает важную для него мысль путем деформации „числового” материала первоисточника. Здесь мы имеем дело с типичным приемом булгаковской тайнописи. Во-вторых, по принципу аналогии с примерами, где символика чисел уже установлена и не вызывает сомнений (номера квартир, палат в клинике Стравинского, номер вагона поезда, в котором приехал из Киева в Москву дядя Берлиоза и т. д.).

Другое условие расшифровки значения символики чисел в романе — понимание того, что в этой системе мышления число обладает двойной природой. С одной стороны, оно эмблематически указывает на сверхлогическую сущность явления и тем самым исполняет в системе художественных средств функцию, сходную с функцией метафоры. С другой стороны, оно антиномично, то есть одно и то же число может быть использовано в эмблематизации противоположных и антагонистических явлений бытия, Это значит, что в числовой мистике, в отличие от обычного арифметического употребления, число

выражает не количественные, а качественные характеристики.

Каким же образом использует Булгаков числовые символы в „Мастере и Маргарите”? Как мы увидим, число у Булгакова идентифицирует действующие лица или предметы как относящиеся к той или иной области бытия — метафизических света и тьмы, земного и человеческого мира. Но помимо этого, числовые отношения исполняют композиционную функцию в организации и корреляции смысловых и сюжетных структур. Они намекают на сущность происходящего в ершалаимских и московских главах, на перипетии борьбы между силами света и тьмы. Пульсируя и в ершалаимских и в московских главах, выясняя положение человека в борьбе между Воландом и Иешуа, числа как бы образуют своеобразный „пифагорейский” ритм в космосе романа, указывают на скрытые силы, действующие за эмпирическим фасадом описываемых писателем событий.

Собственно, сам Булгаков в начале романа вручает читателю ключ к расшифровке тайны происходящего. Здесь мы имеем не только образец того, что русские формалисты называли „обнажением приема”, но и убеждаемся, что выбор чисел Булгаковым не произволен, что он несомненно располагал нумерологическим источником, хотя мы и не можем в настоящее время его назвать. Это действие Булгакова позволяет нам эмблематически идентифицировать сначала области демонического (Воланд), священного (Иешуа), человеческого (Пилат, Левий Матвей, Мастер и Маргарита, другие персонажи ершалаимских и московских глав), а потом выяснить природу отношений между ними.

Область демонического. Воспользуемся любезностью Булгакова и сделаем первый шаг в исследовании текста. На иронический вопрос Берлиоза, может ли подсевший к нему и Ивану Бездомному профессор-иностранец предсказать редактору обстоятельства его смерти, незнакомец отвечает странной и темной фразой: „Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — несчастье... вечер — семь...” — и громко и радостно объявил: — Вам отрежут голову!”⁸.

Эта фраза — не просто пародия мистификатора Булгакова на астрологический жаргон. В действительности она точно передает скрытый смысл события, происходящего в среду вечером, в саду на Патриарших прудах. Обратимся к эзотерическому языку чисел.

„Раз, два...” „Раз” (в русском словоупотреблении „раз” содержит оттенок неповторимой единичности) значит „один”. В Кабале „один” означает первый сефирот — „Я есмь”, то есть Бога-Творца. „Одному” противостоит „два” — полярность, первая материя, но также и природа, противостоящая Творцу. Но ведь это и есть конкретная личная ситуация атеиста Берлиоза, отвергающего существование Бога, и — в универсально космическом смысле — ситуация самого Воланда, сатаны-богоборца. Первая часть фразы содержит, таким образом, буквально „в двух словах”, космологическую концепцию Булгакова, в пределах которой художественно воплощается драма ершалаимских и московских глав.

„Меркурий во втором доме...”. На фоне универсальной космологической значимости первой части

фразы эта ее часть, естественно, связана с личной судьбой Берлиоза. Поразительно, с каким художественным чутьем и точностью выбрал Булгаков этот максимальный по своим семантическим возможностям словесный образ.

В астрологии Меркурий — господин среды, то есть дня, в который обрывается жизнь Берлиоза. Но также и личный характер редактора — интеллигентного, красноречивого и в то же время поверхностного, не обладающего подлинной ученостью эрудита — стоит в системе астрологической характеристики под знаком планеты Меркурий. Таким образом, и астрологически и сюжетно жизнь и смерть Берлиоза оказываются связанными с Меркурием. Вместе с тем в классической мифологии Меркурий — проводник душ умерших в царство теней. Это царство обладает своим числом. Оно и есть „второй дом”. В древнем Риме „двойка” была числом Плутона, бога преисподней. Число „два” раскрывается в романе Булгакова как эмблема ада.

„Луна ушла...”. И у Булгакова в „Мастере и Маргарите”, и в „Фаусте” Гете лунный свет — образ духовной субстанции, духовного мира вообще. Третья часть фразы разоблачает бездуховность атеиста и материалиста Берлиоза.

Естественно, что „шестерка”, ассоциирующаяся с адской „двойкой”, означает в четвертой части фразы „несчастье”. „Шесть” здесь оказывается знаком антихриста. Соответственно и „семерка” в пятой части фразы есть не положительное завершение священного ряда шести дней творения в седьмом дне божественного покоя и света, а „семь” в „вечере”, то есть в области тьмы, и поэтому оказывается числом наказания, знаком кары. Шестая часть фразы — „Вам отрежут голову” — вывод, предрекающий

смерть редактору. Как видим, вся фраза состоит из шести частей, и через это число раскрывается сатанинская природа знания незнакомца. Личная судьба Берлиоза вовлечена в космический ритм. Но в этом ритме выявляется инфернальный ряд чисел, который потом, следуя правилам мистического сложения, примет разные облики в ткани повествования и будет указывать на сокровенный смысл явлений и событий. В этой статье мы проследим сюжетно-смысловые функции чисел „два” и „шесть” в их инфернальных метаморфозах.

В „Мастере и Маргарите” есть еще одно важное число, через которое проецируется в эмпирическое измерение ершалаимских и московских глав демоническая энергия сил тьмы. Это число „три”. Азazelло, Коровьев и Кот-Бегемот составляют демоническую триаду, через которую воплощается в действии воля Воланда. Его эмблема — бриллиантовый треугольник на портсигаре и часах. В противоположность треугольнику с вершиной, направленной вверх, символу троичного Божества, треугольник с вершиной, направленной вниз, является знаком сил преисподней, эмблемой сатаны. Через этот образ в романе уточняется космическая и сюжетная функция Воланда — соперника и *противоборца* Бога. Божественному миру света сатана *противо-*полагает свой антимир тьмы, пародируя онтологические структуры священного бытия.

Область священного. Область священного проникает в эмпирический план ершалаимских глав через личность Иешуа Га-Ноцри. Булгаков снова приходит нам на помощь и через символику чисел облегчает читателю понимание тайны природы Иешуа. Однако если для разоблачения демонических сил в романе писатель пародирует термино-

логию астрологии, то в этом случае Булгаков прибегает к своему любимому приему деформации первоначального источника информации. Согласно евангельской традиции, Иисусу Христу в год Его распятия было 33 года. В „Мастере и Маргарите” Иешуа Га-Ноцри 27 лет. С какой же целью выбрал Булгаков для главного героя романа возраст, который, отклоняясь от общепринятого возраста Иисуса, ничего не прибавляет в смысле реалистической убедительности к образу Иешуа? Может быть, Булгаков искал нечто большее, чем реалистическое правдоподобие образа? Присмотримся к числу 27. В мистическом сложении 2 плюс 7 составляют 9. В древней Иудее число „девять” почиталось священным числом Истины (любое умножение „девятки” дает всегда в мистическом сложении 9). Как утроенная „девятка” число 27 оказывается зашифровкой троичной Истины, то есть символом христианского Божества. Это не все. В древнем Риме число 27 было нуминозным числом, связанным с идеей человеческого жертвоприношения. Иешуа Га-Ноцри оказывается тем самым проповедником божественной Истины, которая утверждает себя в мире через принесение его самого в жертву на кресте. Сплавления в едином числовом образе элементы и древнееврейской и римской числовой мистики, Булгаков художественно зашифровывает мысль об универсальной значимости новой веры, в которой, по словам Апостола Павла, „нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос” (Кол. 3, 11).

Итак, область священного раскрывает себя в романе главным образом в двух числах: „три” — как эмблема троичного Божества, и „девять” — как символ Истины. Есть еще одно число, относящееся

к группе священных чисел: „восемь”. Но это число появляется в сюжетно-определяющей функции не в ершалаимских, а в московских главах. Поэтому речь о нем будет ниже.

Область человеческого. Эта область в символике чисел обозначается „пятеркой”. „Пять” представляет единство духовного мужского начала „три” с земным началом „Великой матери” — „два”. Его вариации в романе представлены также числами 23, 32, 50. Экзистенциальная ситуация человека в мире типизирована в центральном персонаже ершалаимских глав — в пятом прокураторе Иудеи всаднике Понтии Пилате. Подчеркнем, что числовая характеристика прокуратора не диктовалась Булгакову его историческим материалом. В исторической литературе Пилат фигурирует то как шестой, то как пятый прокуратор Иудеи. У Булгакова был выбор наиболее подходящего для него числа.

На первый взгляд число „шесть” представляется более подходящим, поскольку оно подчеркнуло бы решающую роль сатанинских сил в вынесении Пилатом смертного приговора Иешуа. Но в таком числовом контексте воля Пилата была бы детерминирована, и он не смог бы поступить иначе. Он оказался бы простым орудием в руках сверхчеловеческих сил. Выбирая число „пять”, Булгаков делает Пилата нравственно ответственным участником ершалаимской драмы, обязанным свободно сделать выбор между объективным добром и объективным злом. Но так как Иешуа принадлежит к области человеческого бытия, „пятерка” антинормально поляризируется в аспектах человеческой одухотворенности и человеческой грубой силы. Рас-*пятый* Иешуа Га-Ноцри (в системе русских имен прилагательных приставка „раз-” выражает

интенсификацию, потенцирование главного качества), провозвестник Небесного Ершалаима (Civitas Dei), противостоит *пятому* прокуратору Иудеи Понтию Пилату, представителю „вечного Рима”, высшего воплощения универсального земного государства (Civitas terrena). В литературном жанре современного европейского романа Булгаков возвращается к теме метафизики истории, как она была поставлена Отцом Церкви IV—V веков блаж. Августином.

Посмотрим теперь, в каком отношении находятся друг к другу участники этой воплощающейся в истории человечества космической мистерии.

Сатана и Иешуа. Весьма распространена точка зрения, что Воланд не принимает участия в осуждении и казни Иешуа⁹. В таком толковании сатана представляется исследователям романа не столько соперником и противником Иешуа, сколько космическим представителем лояльной и даже, с известными оговорками, доброжелательной оппозиции. Так ли это? Что говорят числа?

Адское число „два” с самого начала окружает схваченного ершалаимскими властями Иешуа. „Два легионера” приводят арестованного на допрос к Пилату (с. 28). „Две цепи солдат” сопровождают осужденных к месту казни (с. 217). „Двойное оцепление” римской пехоты и сирийской конницы окружает Лысую Гору (с. 217). „Два сверкающих пятна” на груди палача-кентуриона (с. 221). „Две неизвестно кому принадлежащие и зачем-то попавшие на холм собаки” (с. 219). Антиномическая амбивалентность, характерная для всех главных символов, присутствует также и в образе этого животного. С одной стороны, собака символизирует верность и бесстрашие (Банга, Тузбубен). С другой

стороны, она, как и стервятники, существо загробного мира, смерть без воскресения („черный пудель” — эмблема Воланда). Адская функция собак в эпизоде казни раскрывается через определяющую их „двойку”. Вместе с тем реалистическая мотивировка, трехмерная звуковая и оптическая иллюзия действительности таковы, что за осязаемой плотскостью образов читатель не склонен замечать присутствия и деятельности сверхчувственных и сверхъестественных сил.

Между тем сам Булгаков напоминает читателю, что числа в ершаламских главах исполняют более чем описательную функцию. Как и в предыдущих примерах, Булгаков достигает своей цели через умышленную деформацию материала источников. Евангельские тексты сообщают число воинов, распявших Иисуса Христа и разделивших между собой Его одежды: четыре (Ин. 19, 23). Как и в примере с возрастом Иешуа, изменение числа исполнителей приговора ничего не прибавляет к пластичной реалистичности эпизода казни. Тем не менее, и здесь Булгаков деформирует информацию источника и дает иное число палачей: шесть (с. 218). Но это, как мы уже знаем, есть число антихриста. 15 человек из тайной стражи прокуратора сопровождают повозки, отправленные для погребения казненных (с. 393). В системе числовых символов „пятнадцать” — число дьявола. Мистическое сложение составляющих его цифр дает то же inferнальное „шесть”. Также и кощунственная „тройка” фигурирует в сцене казни: „три стервятника”, летающие „в предчувствии скорого пира” над Лысой Горой (с. 222). В романе они противопоставлены ласточке, образу птицы, символизирующей возрождение жизни и крест (отсюда десекрация образа ласточки в эпизоде лжевоскресения в главе „Вели-

кий бал у сатаны”). Вспомним „черных птиц”, которые чертят небо перед смертью Берлиоза (с. 23). Это также — трехногий табурет, сидя на котором, Афраний наблюдает за агонией и смертью Иешуа (с. 220). Еще раз такой табурет появится как реквизит Воландовой мебели в Москве в квартире № 50. Задняя ножка этого табурета подломится, когда на него сядет буфетчик Варьете Андрей Фокич (с. 260). Заинтересованность и участие сатаны в убийстве Иешуа подтверждается числами.

Сатана и человечество. Символически положение человечества в его отношении к противоборствующим на земле метафизическим силам добра и зла дано в числовой характеристике дома № 302-бис. Начнем с того, что это шестизэтажный дом, расположенный „покоем” (с. 97). Внешне все в этом доме может показаться благополучным, и „шестерка” представляется на первый взгляд числом, исполняющим положительную функцию. Она может быть ассоциирована с шестью днями творения, после которых в седьмой день Бог „почил от всех дел Своих” (Быт. 2, 3). „Покой” и есть то метафизическое содержание, на которое указывает священная „семерка”. Это внешнее впечатление разрушается значением 302-бис. Как мы уже знаем, „три” и „два” представляют мужское и женское начала человеческой природы и в сумме дают „пять”. Дело, однако, в том, что подлинного единства нет, так как в человеческую природу вторглось небытие, „нуль”, то есть зло, и внесло в нее раскол и раздор. Это зло и есть „бис”, то есть по-украински бес или черт. Также и „пятерка” в кв. № 50 поражена „небытием”: ее жильцы сами отравлены пороками жадности и разврата. Именно потому, что в расположенном „покоем” доме нет покоя, он не есть то,

за что он себя выдает — жилищное товарищество, содружество личностей. На самом деле это — случайное и неустойчивое сборище враждующих и подсиживающих друг друга индивидуумов. Поэтому числа дwoятся в своем значении. „Шесть” оказывается уже известным нам знаком антихриста, „несчастья”. Семикратное упоминание шестого подъезда в связи с бесовскими проделками в кв. № 50 (сс. 121, 144, 203, 255, 316, 371, 430) вводит „шестерку” в демоническую „семерку” и связывает оба числа с числовыми отношениями в эпизоде предсказания Воландом смерти Берлиоза. Советская Москва оказывается человеческим миром, идущим по пути зла. В то же время пороки „нового” общества, на которых играет Воланд, „слишком человеческие”, употребляя выражение Ницше, пороки. 32 доноса-заявления, полученные Никанором Ивановичем после смерти Берлиоза, дают в мистическом сложении то же „человеческое” „пять”. Но последняя „двойка” в этой „пятерке”, составленной из цифр в нисходящей последовательности, указывает на существенную особенность этого типа человеческой деятельности — ее родственность демоническому злу. Сходное значение имеет возраст — 32 года — бездарного поэта, приспособленца Рюхина (с. 93), разоблаченного вступившим в борьбу с сатанинским злом Иваном Бездомным. „Двойка” доминирует в описании событий в кв. № 50 с ее исчезающими жильцами и иронической ассоциацией деятельности карательных органов советского государства с кознями нечистой силы (сс. 97—98). Другими числами, которые в московских главах означают несчастье и грех и не вызывают сомнений в своей принадлежности к демонической области бытия, являются 13, „чертова дюжина”, — и 11, число греха и нравственного невоздержания. Сатана

действует в земном мире с целью погубить человеческие души.

Иешуа и человечество. Область священного представлена в ершалаимских и московских главах тремя числами — 3, 8, 9. Но если числа демонического бытия в их отношении к области бытия человеческого отождествляются со значением кары, соблазна, греха и смерти, священные числа связаны с функцией помощи и спасения. Больше того, это „власть имущие” числа. Так, число „три” указывает на близость персонажа романа к сфере троичного Божества. Три светильника вносят в комнату Пилата перед вступлением в нее Левия Матвея. Перед ними „отступает” ночь, которую „уводит с собой” ассоциирующийся с силами зла Афраний (с. 412). Отметим здесь мимоходом, что трехсвечие носится перед священником во время богослужений на Пасхальной неделе, прославляющих празднующую победу над смертью Христа. Третий крик петуха изгоняет из кабинета Римского вампира Геллу (с. 198). Пожалуй, наиболее значительное священное число в московских главах — „восемь”. Означая „восьмой день творения”, то есть возрождение в новую жизнь, оно оказывается числом воскресения Иисуса Христа и преобразования мира (в христианской нумерологии тройная „восьмерка” — 888 — священное число Иисуса в еврейском алфавите. Оно противостоит тройной „шестерке” — 666 — числу зверя Апокалипсиса. В греческом алфавите „восьмерка” — число и Яхве (Бога-Отца) и Христа (Бога-Сына). Отсюда понятно преобладание „восьмерки” в московских главах. В ершалаимских главах Иешуа предстает перед читателем в аспекте приносимой в жертву Истины. В московских главах — в аспекте Спасителя. Будучи, однако, сокровенным

числом Иисуса, „восьмерка” ассоциируется в романе с другим равным по значению символом Иисуса-Победителя — образом „петуха”, провозвестника „восьмого дня творения”.

Крик петуха спасает от вампира Геллы финдиректора Варьете Римского, воззвавшего о помощи в безнадежной, по человеческим понятиям, ситуации. Крики петухов разрушают наваждение лжевоскресения на „великом бале сатаны” (с. 348). Это значит, что „восьмерка” божественного воскресения и обновления бытия торжествует над „семеркой” сатанинского лжетворения Воланда. Напомним, что и Воланд и Коровьев *дважды* указывают, что их „выступление” в Москве продлится *семь* дней (с. 103, 123). Вопреки своему намерению, не успев завершить своего дела, Воланд и его демоническая свита принуждены оставить Москву на четвертый день, накануне Пасхального воскресенья.

Показательно, что „восьмерка” в числовом значении нравственного возрождения человека появляется в романе там, где его персонажи становятся на путь хотя бы только частичного исправления своей жизни. Иешуа как бы предоставляет им новый „шанс”. Неслучайно, что председатель жилищного товарищества дома № 302-бис, взяточник Никанор Иванович Босой, покаявшийся перед Богом в своей „скверне” (с. 203), проживает в кв. № 35 (в мистическом сложении $3+5=8$). Вспомним, по контрасту, что кляузник и наушник Тимофей Кравцов, от имени которого Коровьев сделал донос на Никанора Ивановича, занимает кв. № 11. *Восемь* дней провел в клинике Степа Лиходеев. В эпилоге мы видим Степу изменившимся к лучшему (с. 491). Пощаженный Маргаритой, следовавшей, несмотря на искушение Воланда, внутреннему им-

пульсу добра, критик Латунский (с. 353) живет на *восьмом* этаже в здании Драмлита (с. 301). „Пять темных комнат” квартиры Латунского символизируют его человеческую ситуацию в условиях безбожного государства. Но даже и он получает в космосе Булгакова шанс на исправление и конечное спасение. Во всех случаях числовые символы указывают не только на превосходство „ведомства” Иешуа над силами сатанинского зла, но и на то, что губительная власть Воланда оказывается бессильной там, где человек сознательно или бессознательно призывает на помощь Бога или становится на путь нравственного исправления своей жизни.

Мастер, Маргарита, Иван Бездомный. До сих пор мы рассматривали числовые закономерности, которые определяют космический ритм и повествовательную ткань романа Булгакова. Числовые характеристики определяют также личную ситуацию персонажей романа и позволяют писателю возвысить образы своих героев до уровня общечеловеческой значимости. Мастеру в романе 38 лет. Маргарите — 30. Как и другие рассмотренные нами числа в романе, и эти числа символичны и амбивалентны.

38 лет ожидал исцеления больной, которого в иерусалимской купальне „Дом милосердия” исцелил в субботу Христос (Ин. 5, 2—9). В субботу дарует Иешуа мастеру вечный приют покоя, исцеляя его больную душу. Но мистическое сложение $3+8=11$. Это значит, что душа мастера повреждена грехом. Исцеление души мастера связано с необходимостью искупления им своего греха. Его грех, как и грех Пилата, состоит в потере мужества. Раздавленный преследованием атеистического государства, он „возненавидел свой роман” и тем самым отрекся от Иешуа (с. 370). Палата № 118,

в которой содержится мастер, раскрывает сущность происходящего: $1+1+8=10$. „Десять” — число совершенства. Но $1+0$ также означает в данном контексте, что дух мастера задавлен „небытием”, злом, как в политическом, так и в метафизическом смысле. За спиной земных гонителей мастера стоит сатана Воланд. Воланд одержал победу над мастером.

Так же двоятся число 30. 30 сребреников получил Иуда за предательство Иисуса. Маргарита заключает пакт с сатаной. Но, с другой стороны, число 30 представляет произведение священных чисел „три” и „десять” и связано с готовностью Маргариты принести наибольшую возможную для человека жертву — потерять свою душу для спасения любимого мастера. Чтобы войти в приют покоя вместе с мастером, она должна быть прощена. Ее грех, подобно греху мастера, состоит в том, что, сохранив цельность характера и волю к добру, она все же утратила веру в силу добра и, признав Воланда всесильным, признала тем самым за сатаной божественный атрибут всемогущества (с. 363). Воланд соблазнил Маргариту.

Обе темы искупления и прощения неотделимы от темы милосердия Иешуа. Но в силу вышесказанного понятно, почему мастер (а вместе с ним и его подруга), по словам Левия Матвея, выражающего милосердную волю Иешуа, „не заслужил света, он заслужил покой” (с. 453).

Не менее поучительна символика чисел для понимания образа Ивана Бездомного в целостном замысле романа. Ивану Бездомному 23 года. „Два” плюс „три” дают „пять”, и в этом числе раскрывается универсальная человеческая значимость судьбы Ивана в условиях атеистического советского государства. *Восходящая* последовательность цифр, составляющих „пятерку” от „двух” до „трех”,

свидетельствует о начале процесса богоискательства в душе Ивана, которому стараются воспрепятствовать и богоборческое государство, и сам сатана Воланд. Палата № 117, в которую помещен Иван в психиатрической клинике Стравинского, раскрывает внутреннее значение происходящего. $1+1+7=9$. Иван сидит в психушке „за правду”¹⁰.

*

Теперь можно подвести итоги нашему краткому обзору роли нумерологии в „Мастере и Маргарите”. Как мы видели, раскодирование чисел не только доказывает то, что Воланд — непримиримый враг Иешуа и искуситель человечества, но и то, что сохранивший инстинкт добра человек может рассчитывать на действенную помощь Иешуа и с его помощью разрушать замыслы сатаны.

Тем не менее символика чисел обладает в романе строго ограниченными семантическими возможностями. Будучи по своей природе антиномичными, числа сами по себе не проблемы онтологического отношения между сферами добра и зла. Поэтому, если оставаться исключительно в пределах мистических чисел, допустим вывод о манихейской концепции Булгакова, определяющей смысловой и художественный космос „Мастера и Маргариты”. В такой модели космоса добро и зло представляют полярные, но в то же время взаимодополняющие и равносильные принципы бытия. Иными словами, религиозный мир Булгакова определяется тем типом дуализма, в котором сатана со-могущ Богу. Но так ли это на самом деле?

Чтобы найти удовлетворительный ответ на этот центральный для понимания романа вопрос, нужно обратиться к источникам, которых мы до сих пор

избегали, методологически ограничивая исследование нумерологическим материалом. Теперь мы должны установить некоторые литературные источники, которые использовал Булгаков в процессе своей работы над романом. Опираясь на систему образов романа и сравнительный материал, мы сможем установить, является ли булгаковский Воланд падшим ангелом, то есть сотворенным духом, восставшим против своего Творца.

Это совсем не досужий вопрос. Уже черт Ивана Карамазова решительно не мог представить себя падшим ангелом и заявил о своей искренней любви к людям¹¹. Диалектически позиция черта должна облегчить ему основную цель — соблазн Ивана. С одной стороны, она снимает с сатаны ответственность за мировое зло. С другой — объявляет зло необходимым условием возможности существования добра, то есть постулирует онтологическую соотносительность добра и зла и необходимость мирового зла в вечности.

Действительно, если черт является сотворенным, но не падшим духом, то вся ответственность за мировое зло возлагается на Бога, Который изначально нуждается для поддержания своего миропорядка в принципе отрицания. Черт оказывается необходимым условием универсальной разности потенциалов, вне которой невозможны ни космическая эволюция, ни исторический процесс. Если же сотворенность черта остается невыясненной, то тогда он представляется со-равным Богу космическим принципом и существуют „ ... две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем не известная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище... ”¹².

По своей литературной генеалогии булгаковский Воланд родствен и черту Ивана Карамазова, и

„страшному и умному духу самоуничтожения и небытия” в „Великом инквизиторе”. Установив дополнительно его преемственную связь с другими образами сатаны в европейской литературе, попробуем разоблачить „духа зла и повелителя теней” в „Мастере и Маргарите”. В эпизоде встречи Маргариты с Воландом, перед началом „великого бала весеннего полнолуния”, Булгаков дает „интимное” описание князя тьмы, которое он заканчивает словами: „Кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар” (с. 322). Чем мог быть навеян Булгакову этот образ? Как он может облегчить нам понимание природы Воланда?

Нетрудно заметить, что наиболее характерные черты лица Воланда в этом эпизоде заимствованы Булгаковым из оперы Гуно „Фауст”. Но откуда появился „загар”, снабженный многозначительной ремаркой „навек”, отражающей какую-то постоянную, но не изначальную характеристику Воланда? В „Фаусте” Гете, из которого в роман перешли некоторые внешние черты и само имя Воланда, загар Мефистофеля не подчеркнут. Обожженное лицо сатаны упоминается, однако, в поэме Мильтона „Потерянный рай”: „глубокие рубцы от молний избородили лицо” восставшего против Бога и низвергнутого в преисподнюю „архангела”¹³.

Итак, согласно свидетельству источников, Воланд — падший ангел. Его „возможности велики, они гораздо больше, чем полагают некоторые не очень зоркие люди” (с. 359). Но они строго ограничены волею Бога и в конечном счете подвластны „ведомству” Иешуа¹⁴. Кроме того, мильтоновский образ — не единственное художественное средство, при помощи которого Булгаков проникает в метафизическую природу Воланда. У него есть и свой собственный великолепный по своей эстетической

действенности и богатый по своей смысловой выразительности образ. В заключительной главе во время адской скачки Воланд и его демоны, не смеющие остаться на земле в день Пасхального воскресенья, являются глазам Маргариты „в своем настоящем виде”.

„И, наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, что это лунные цепочки, и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд” (с. 478).

Какие смысловые компоненты заключает в себе этот исключительный по своей таинственной красочности образ? Мы снова должны вернуться к нумерологическим представлениям. Вспомним, что демоническое зло индивидуализируется в московских главах через триаду демонов, за которой как бы в качестве „недвижимого двигателя” стоит сам верховный принцип зла Воланд. Однако в романе эта триада существует не сама по себе, а в антиномичном противопоставлении Божественной Троичности.

Образ Божественной Троицы появляется в эпизоде допроса Иешуа Пилатом, когда возле арестованного загорается столб пыли, а над самой головой игемона пролетает ласточка (с. 39). Но это именно „образ”. Библейский огненный столб, человек Иешуа, ласточка, образный эквивалент голубя — лишь доступные человеческому ограниченному восприятию образы ипостасей Троичного Бога, через которые Он открывает Себя миру. Сам Бог, как бытие в себе, „лицом к лицу” взору человека недоступен, так как Бог-Творец абсолютно отличен от Своего творения. В эпизоде допроса Бул-

гаков неукоснительно следует апостольскому учению о Боге¹⁵.

Если мы теперь сравним Божественную Троичность с демонической триадой в „Мастере и Маргарите”, очень легко устанавливается существенное различие между ними. Хотя Булгаков в приведенном выше отрывке говорит о „настоящем обличье” Воланда, Маргарита не в состоянии воспринять его во всей полноте. Она видит только „вторичные”, онтологически внешние, качества мирового зла. Этим качествам присуще мрачное величие, и оно может обманывать и соблазнять человека. Самое страшное при этом — человека большой души. Мелкий человек, как правило, остается на плоскости пошлости и грубого насилия, повседневности зла, проецированного в унижительном шутовстве Кота-Бегемота, жадности и зависти Коровьева, холодного и расчетливого человекоубийства Азazelло. Но в своей глубинной основе сатанинское зло недоступно постижению человека. И все-таки Маргарита, не будучи в состоянии постичь целиком „настоящее обличье” Воланда, может видеть его. Этот парадокс человеческого знания возможен только потому, что и область человеческого, и область демонического бытия — оба являются тварным бытием. А это опять-таки означает в системе художественных образов Булгакова, что могущество Воланда — как сотворенного духа — не может быть соравно могуществу Иешуа, который совмещает в себе не только человеческую, но и божественную природу.

Мы подошли к концу нашего разбора эмблематики чисел в „Мастере и Маргарите” там, где символическая функция их не вызывает сомнений, и смогли сделать важные выводы для определения смысловых и повествовательных структур романа.

Скажем в заключение, что числовой ритм определяет и само распределение повествовательного материала. Роман состоит из 32-х глав и эпилога. В Кабале 32 означает число путей премудрости, через которые эмануирует в мир божественный свет. 33 (эпилог)¹⁶ в системе нумерологии обладает функцией тайны и свершения. Все это дает основания назвать „Мастера и Маргариту” романом тайного знания, гностическим романом. Так, по-видимому, смотрел на него и сам Булгаков.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Н. У л ь я н о в. Арабеск или апокалипсис. — „Новый журнал” № 57, 1959, сс. 116—131.

2. В р у с е А. Betie and Phyllis W. Powel. Story and Symbol: Notes Toward a Structural Analysis of Bulgakov's The Master and Margarita. — Russian Literary Triquarterly, 15 (1918), p. 238.

3. Е. Е t k i n d. Manuskripte brennen nicht. Akzente, 4 (1968), S. 323.

4. А. П е т е л и н. Родные судьбы. 2-е изд. Москва, 1976, с. 232.

5. В. Л а к ш и н. Роман М. Булгакова „Мастер и Маргарита” — „Новый мир” № 6, 1968, с. 295.

6. Н. R u g g e n b a c h. Michail Bulgakovs Roman „Master i Margarita”. Stil und Gestalt. Bern, 1979, S. 20.

7. И. Б е л ь з а. Генеалогия „Мастера и Маргариты”. — Контекст-78. Москва, 1978, с. 233; S. S c h u l z e. The Epigraphs in White Guard. — RLT, 15 (1978), p. 215.

8. М. Б у л г а к о в. Мастер и Маргарита. „Посев”, Франкфурт-на-Майне, 4-е изд., с. 22. В дальнейшем указание страниц будет даваться в скобках в тексте.

9. R. В e e r m a n. Bulgakows „Meister und Margarita” und die Wertordnung. — Osteuropa, 20 (1970), S. 182; В. Л а к ш и н. Роман М. Булгакова „Мастер и Маргарита”. — „Новый мир” № 6, 1968, с. 296 E. P r o f f e r. On The Master and Margarita. — RLT, 6 (1973), p. 546.

10. Подобным же образом расшифровывается значение номеров палат, в которые посажены другие персонажи

романов. Никанор Иванович помещен в палату 119. $1+1+9=11$. Иными словами, Никанор Иванович наказан за „грех” и „скверну”, в чем он сам отдает себе отчет. В палате № 120 находится конференсье Варьете Жорж Бенгальский. $1 + 2 + 0 = 3 + 0$. У пошляка Бенгальского образ и подобие Божие повреждены „небытием”. Вспомним, что и у Гоголя, и у Достоевского пошлость воспринимается как самое типичное проявление сатанинского зла.

11. Ф. Д о с т о е в с к и й. Собрание сочинений. М., 1958, т. 10, с. 165.

12. Там же, т. 10. с. 178.

13. John Milton. Paradise Lost (1, 600—01). „... th' Arch. Angel: but his face Deer scars of Thunder had intrencht...”

14. То, что Булгаков заменил „повеление” Воланду, как это было в первоначальном варианте, „просьбой”, которую Иешуа передает ему через Левия Матвея, не означает онтологического „соравенства” зла добру в религиозно-философской концепции Булгакова. Этот словесный образ теснейше связан с идеей антиномичности бытия и свободы, которую исследовал о. Павел Флоренский в своем труде „Столп и утверждение истины”. Этот труд был использован Булгаковым в его работе над „Мастером и Маргаритой”. Как подчеркивал Флоренский, Бог—Любовь, признавая и сохраняя свободу тварного мира, осуществляет Свою провиденциальную волю тем, что „Бог просит тварь” (П. Ф л о р е н с к и й. Столп и утверждение истины. М., 1914, с. 324).

15. „Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас” (1 Ин. 4, 12). „Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь” (1 Тим. 6, 13—16).

16. David L o w e. Bulgakov and Dostoevsky: A Tale of Two Ivans. — RLT. 15 (1978), pp. 253—263. Автор этой работы усматривает в делении романа на 33 главы (включая эпилог) зашифрованное указание на возраст евангельского Иисуса Христа. Учитывая, однако, что в романе Иешуа 27 лет, я считаю мое толкование более вероятным.

Л. Н. Толстой, фотография и кино

Как-то, проходя мимо включенного телевизора, я случайно увидел, что во весь его экран показан портрет Льва Толстого.

Надо сказать, что канадские телевизионные компании чрезвычайно редко дают передачи на темы русской литературы. Передача же о Толстом... Это — нечто совершенно уникальное... Я засмотрелся на портрет, и в моей памяти неожиданно возникла одна древняя история, связанная с ним.

„А ведь я мог бы рассказать не одну такую историю о фотографиях Льва Толстого и об его отношении к искусству светописы. Они были бы интересны даже для специалистов — и толстоведов, и фотографов”, — подумал я.

Начать свой рассказ я решил именно с того портрета, какой я увидел на телеэкране: „Толстой в парадном мундире офицера артиллерии”. Не только потому, что это — одно из первых фотоизображений Толстого, но и потому, что с этой фотографией связано небольшое открытие, сделанное мной лет 25 назад.

Открытие состояло в том, что, рассматривая эту фотографию (разумеется, не на телеэкране, а держа ее в руках), я установил, в какую сторону была повернута голова Толстого в момент съемки.

Последняя фраза, по всей вероятности, вызвала недоумение читателей. Ведь так? Конечно, в следующий момент все уже догадались, что я имею в виду соответствие поворота головы Толстого на фотографии повороту во время съемки, но и догадавшись, многие, вероятно, не перестали удивляться: о каком „установлении” может идти речь, если общеизвестно, что фотография есть точное повторение объекта в момент съемки?

Но в том-то и дело, что эта точность — не всегда абсолютна. Ведь зеркало тоже передает нашу внешность точно, однако изображение в зеркале не абсолютно точное, а „зеркальное”. Правая рука, правый глаз, правое ухо и т. д. видятся в зеркале как левые, и наоборот, если мы повернем перед зеркалом голову влево, свое отражение мы увидим повернутым вправо.

При фотографировании такое зеркальное изображение создается на негативе, то есть на той пленке, которую фотограф закладывает в фотоаппарат. Лишь затем, когда фотоизображение, полученное на пленке, проецируется с этой пленки на бумагу (так называемая фотопечать, при которой создается зеркальное изображение зеркального изображения), мы получаем точное повторение объекта в момент съемки.

Вот теперь фраза о том, что мне удалось „установить, в какую сторону была повернута голова Толстого в момент съемки”, стала понятной: речь шла о том, каким именно изображением является фотография „Толстой в парадном мундире” — прямым или зеркальным.

Но если сама эта фраза и перестала быть загадочной, то вся „история открытия” не стала яснее. Главное, что неясно, это — как можно, не присутствуя при фотографировании, определить, прямое

или зеркальное отражение представляет собой фотографию.

Сейчас я объясню и это, отметив предварительно, что мое открытие и заключалось именно в том, что фотография была зеркальным отображением. Конечно, это не потрясло основ никакой науки, да и установить это оказалось так легко, что я до сих пор не понимаю, почему за 100 лет, в течение которых портрет множество раз публиковался, никому не пришло в голову сделать это открытие. И все же его история довольно занимательна.

Ее начало никакого отношения ни к каким фотографиям не имеет — оно связано с моей работой над книгой „Лев Толстой на Кавказе”, которой я был очень увлечен в середине 50-х годов. В самый разгар исследований выяснилось, что у меня недостает некоторых фактов жизни молодого Толстого. Установить их можно было, лишь узнав номер артиллерийской части, в которой служил будущий писатель.

Вспомнив, что в годы военной службы Толстого номер воинской части русских офицеров вышивался на эполетах их парадных сюртуков, я решил, что самый легкий путь разрешения моего вопроса — это внимательное разглядывание фотографий Толстого военных лет.

Перелистав биографию писателя, я нашел нужную мне фотоиллюстрацию и без труда разобрал на эполете начертание „08”, то есть зеркальное отражение двадчатки. Вот и все. Так я узнал, что Толстой служил в 20-й дивизии, и теперь можно было без помех продолжать прерванную работу над книгой.

Но куда там! Это только казалось, что „можно было”. В действительности я ничего не мог делать, кроме изучения фотографии Толстого: мне не ве-

рилось, что ответственное академическое издание дало перевернутое изображение по недосмотру обыкновенного технического редактора.

Я нашел эту фотографию в другой книге, в третьей, в десятой — везде изображение было зеркальным. Получалось, что один из самых распространенных портретов молодого Толстого всегда публиковался неправильно. Это было очень странно...

Но еще большее удивление я испытал, когда убедился, что и подлинная фотография „Толстого в парадном мундире”, которая хранилась в архивах Толстовского музея и с которой снимались все позднейшие копии, тоже оказалась не прямым, а зеркальным изображением. После этого я уже не мог не увидеть негатива этой фотографии.

Он тоже находился в Толстовском музее среди нескольких тысяч других негативов, и, подобно всем реликвиям, хранили его, как говорится, за семью печатями. Я добился разрешения увидеть этот негатив.

С трепетом извлек я из бумажного пакетика целлулоидный прямоугольничек и посмотрел его на свет. Как же я был изумлен, когда этого оказалось достаточно, чтобы рассеялись все мои недоумения: у меня в руках был совсем даже не негатив, а дагерротип!

„Ну и что из того, что дагерротип? — спросят читатели, не знакомые с историей фотографии. — Что это такое — дагерротип, и неужели разница между ним и негативом так уж велика, что благодаря ей смог быть разрешен казалось бы неразрешимый вопрос?”

Ну что ж: придется сказать еще несколько слов о фотографии. Что такое дагерротип? Этим словом изобретатель фотографии Л. Дагерр назвал свои первые фото пленки. Как и изобретенные позднее

негативы, дагерротипы являлись зеркальным изображением объекта, но, в отличие от негативов, они были позитивами. В годы, когда они снимались, каждый из этих целлулоидных прямоугольников был уникальным: копии с него сделать было невозможно.

Лишь когда был изобретен негативный фотопроект*, появилась возможность иметь копии со старых дагерротипов. Изготавливали их путем фотографирования дагерротипа на негативную пластинку и последующего получения обратных (по отношению к этому негативу) копий на бумаге. В результате создавались точные повторения первоначального дагерротипа, то есть зеркальный позитив объекта. Именно такими фотографиями и иллюстрировались книги, с которых я начал свои поиски.

Любопытно, что первый дагерротипный портрет Толстого был сделан осенью 1848 г. („Толстой — студент”**), то есть юный граф был одним из первых посетителей только что открытого в Петербурге „дагерротипного заведения” В. Шенфельдта.

У того же В. Шенфельдта и у С. Левицкого (двоюродного брата А. Герцена, ученика Л. Дагерра и придворного фотографа Александра II) были сняты еще три сохранившихся до наших дней дагерротипа

* Калотипия — способ фотографирования с изготовлением негатива — была изобретена У. Г. Ф. Толботом; патент на изобретение был выдан ему в 1841 г. — Р е д.

** Биографы Толстого не обратили внимания на тот факт, что Толстой сфотографировался в студенческой шинели и в студенческом мундире, между тем как еще за полтора года до того был отчислен из Казанского университета, а в Петербургский решил поступать лишь через полгода. И это при том, что в Москве он вел рассеянный светский образ жизни, одеваясь щеголем...

Толстого — „Толстой перед отъездом на Кавказ” (1851 г.), „Толстой в шинели с бобровым воротником” (1853 г.), „Толстой с братьями” (1854 г.).

Разыскав их в книгах и альбомах и рассмотрев как следует, я убедился, что и они публиковались всегда в зеркальном виде — на одной фотографии сюртук выглядит застегнутым по-женски (правая пола сверху), на другом — пробор справа и т. п. Все эти копии были сделаны с дагерротипов, по-видимому, вскоре после создания Толстовского музея. Исправить дело, получить не зеркальные, а точные изображения стало возможным лишь в наше время, с изображением поляроидов и прочих достижений фотографии.

Дагерротипия в России просуществовала сравнительно недолгий срок, уступив место современной фотографии — с негативной пленкой и позитивом на бумаге. Толстой оказался одним из первых россиян, увидевших свое изображение, полученное новым способом.

Фотография была едва ли не первым хронологически из технических изобретений и достижений, которых так много появилось на протяжении долгой жизни Толстого и которыми он всегда живо интересовался. Может быть, поэтому его увлечение „светописью” было особенно сильным. Он много фотографировался и рекомендовал это же друзьям и знакомым. 15 февраля 1856 г., например, он предложил нескольким знакомым писателям, в кругу которых в те годы постоянно вращался, сфотографироваться группой.

Впоследствии, 14 апреля 1856 г., Толстой писал сестре: „По моему предложению все литераторы сделали фотографическую группу: Тургенев, Григорович, Дружинин, Гончаров, Островский и я”.

Значение этой фотографии переоценить невоз-

можно: воспроизведенная в печати, она как бы утвердила место молодого писателя среди наиболее талантливых и наиболее известных литераторов, объединенных лучшим в те годы некрасовским журналом „Современник”. (Сам Некрасов, как говорил впоследствии фотограф С. Л. Левицкий журналисту А. П. Милюкову, „отсутствовал в этой группе только по нездоровью”.)

Толстой не только одним из первых в России сел перед фотообъективом, он был одним из первых русских фотолюбителей. Практической фотографией он увлекся сразу же после женитьбы и переезда в свое имение Ясная Поляна. Его юная жена, София Андреевна, охотно разделяла увлечение мужа, читая руководства, фотографируя и часами просиживая в фотолаборатории.

Из фотографий Толстого этих лет особенно интересна сделанная в конце 1862 г. им самим. Писатель изображен на ней в пиджаке грубого сукна в полоску, как бы несколько подавшимся в момент съемки назад: Толстой не захотел делать движение рукой, чтобы потянуть за нитку, привязанную к затвору фотоаппарата, а отпрянул всем корпусом. На фотографии — надпись С. А. Толстой: „Самъ себя снялъ. Гр. Л. Н. Толстой. Фотографія Ясной Поляны”.

В середине 60-х годов Толстой весь ушел в работу над романом „Война и мир”, а затем над другими произведениями и перестал заниматься не только лабораторной обработкой фотоснимков (что и раньше делала по преимуществу София Андреевна), но и самим фотографированием. Однако он по-прежнему очень любил фотографию и до глубокой старости высказывал убеждение, что ее ожидает блестящее будущее.

„Он полагает, — записал в своем дневнике до-

машный врач Толстых И. Н. Альтшуллер, — что фотография, фонография и т. д. сыграют великую роль в истории культуры”.

Оставив занятия фотографией сам, Толстой очень поощрял увлеченность ею своей жены. София же Андреевна, несмотря на всегдашнюю занятость хлопотами по дому, работой в усадьбе, шитьем, детьми, перепиской рукописей мужа и т. д., и т. п., всегда изыскивала время для любимого занятия и скоро стала фотографировать лучше многих профессионалов.

„Какая великая мастерица графиня София Андреевна по части фотографии, — писал, например, известный искусствовед и художественный критик В. В. Стасов. — Просто слюнки потекут, как помотришь на ее снимки. Этак живописно расположено, этак скульптурно все! Восхищение да и только!”

Когда подросли дети Толстых, то и они взялись за фотографирование. Особенно им увлекались Мария, Илья и Михаил, не раз снимавшие и отца. Снимали его также более далекие родственники, друзья и просто посетители — А. Дьяков, К. Дитерихс, Д. Олсуфьев, П. Бирюков, П. Сергеенко, Е. Томашевич, П. Преображенский, А. Ратницкий, А. Хирьяков, В. Булгаков и особенно много В. Чертков, который специально для этой цели привез из Англии не только отличный, дорогой фотоаппарат, но и фотографа-лаборанта.

Из профессионалов, снимавших Толстого, следует назвать В. Сокольникову, М. Волкову, Г. Трунова, Ю. Мебиуса, О. Ренара, С. Смирнова, А. Савельева, В. Чеховского, В. Кривоша, Ф. Протасевича, А. Мея, А. Бодянского, Шерера и Набгольца, М. Панова, А. Дранкова, П. Оцупа, К. Булу...

До середины 70-х годов Толстого снимали, глав-

ным образом, непрофессионалы, но затем фотографии стали постоянными посетителями Ясной Поляны. Иногда приезжало одновременно их несколько, к ним присоединялись домашние фотолюбители, и писатель уже не имел покоя: ведь техника фотографии была еще такова, что съемке предшествовал тщательный выбор фона, цвета одежды, характера освещения, да и во время съемки нужно было вытерпеть четыре-пять дублей (для страховки!). Сидение перед объективом длилось по полчаса и больше, отрывая от работы и привлекая всеобщее внимание.

Кроме того, фотографируясь для печати (а начиная с 70-х годов в печать могла попасть, в сущности, любая фотография писателя), Толстой как бы принимал участие в афишировании собственной персоны, чего с годами он старался избегать. Иной раз съемки так надоедали ему, что он говорил домашним довольно нелестные слова про фотографов — тут уже забывались все великие достоинства фотографии!

В фондах Толстовского музея хранится фотография, еще в семье Толстых получившая название „Атака”. На ней изображены два фотографа, направившие свои фотоаппараты на Толстого, и видна тень от штатива третьего, снявшего эту сцену.

В 1881 г. Толстой купил дом в Москве и проводил там зимы, уезжая на лето в Ясную Поляну. Эти две усадьбы становятся подлинным центром культурной жизни России, привлекая множество самых различных посетителей — от простых, ищущих мудрого совета людей до знаменитых писателей, художников, музыкантов, артистов, общественных деятелей.

Все чаще теперь Толстого фотографируют не одного и не в кругу семьи, а с приезжими гостями.

Известны фотографии, на которых Толстой снят с Паоло Трубецким во время его работы над скульптурным портретом писателя, со скульптором И. Я. Гинцбургом, искусствоведем В. В. Стасовым, с композитором С. И. Танеевым, с пианистом А. Б. Гольденвейзером, с польской клавесинисткой Вандой Ландовской, с физиологом И. И. Мечниковым, с юристом и литератором А. Ф. Кони, с русским писателем Л. Н. Андреевым и с японским писателем Кенджио Токутоми... Особое место занимают фотографии Толстого с Горьким и с Чеховым.

С Горьким Толстого фотографировала София Андреевна во время приезда Алексея Максимовича в Ясную Поляну 8 октября 1900 года. Снимала на открытом воздухе, сделала два снимка, но фотографий Горький не дождался, так как пробыл у Толстых всего один день. София Андреевна обещала одну из фотографий выслать Алексею Максимовичу, но уже через три дня, он, не дожидаясь обещанного, писал ей: „С нетерпением жду снимка — вот буду благодарен Вам. По совести скажу — видеть себя на карточке рядом со Львом русской литературы — мне невыразимо радостно. Горжусь этим ужасно! Знаю, что Вам обязан честью этой”.

Чехов снимался с Толстым в 1901 году, в Крыму, где в то время по предписанию врачей жили оба писателя. До нас дошли три фотографии, все они сделаны на террасе (две — на диване, одна — в креслах у столика).

Об одном из этих снимков Чехов писал жене: „С. А. Толстая сняла Толстого и меня на одной карточке. Я выпрошу у нее и пришлю тебе, а ты никому не давай переснимать, Боже сохрани!”

Рассказывая о крымских встречах Толстого с Чеховым и Горьким, нельзя умолчать и о той фото-

графии, где сняты сидящие рядом Толстой и Чехов и стоящий между ними Горький.

Композиция фотографии мне показалась несколько искусственной. Я стал изучать дневниковые записи и письма Толстого, Чехова, Горького и их близких, однако не смог обнаружить ничего, что подтверждало бы факт встречи всех трех писателей в один и тот же день. На мое счастье, фотограф, делавший этот снимок, был жив, и мне удалось его отыскать. Едва взглянув на фотографию, он твердо заявил, что это — монтаж. И показал мне альбом подобных фальшивок.

Особенно сильное впечатление произвело на меня изображение Сталина, идущего по Красной площади в окружении радостно улыбающихся ему прохожих. Рядом с этой фотографией находились два, так сказать, полуфабриката: на одном было все то же, кроме Сталина, а на другом — Сталин в кремлевском скверике, совсем один (и потому смотреть на его неоправданную улыбку было странно), а вдали — кусок высокой кремлевской стены и некие личности из охраны.

Конечно, чтобы доказать интерес и близость Толстого к народу, совсем не надо прибегать к подобным фальшивкам: существует множество фотографий, на которых Толстой снят вместе с совсем не известными людьми. Большинство таких снимков сделано после 80-х годов, то есть, когда, по словам самого писателя, с ним „случился нравственный поворот”, и он решил, что для понимания новых сдвигов в жизнедеятельности России он „должен понять жизнь простого трудового народа”.

С этой целью — познать и понять — Толстой, живя в Москве, часто уходил на Воробьевы горы, чтобы там работать с пильщиками дров, посещал фабрики и заводы, бывал в трактирах, в ночлежках, на на-

родных гуляниях, а в деревне работал в поле, помогал крестьянам по хозяйству.

До нас дошло несколько фотографий, на которых Толстой изображен среди крестьян, крестьянских детей, рабочих — учащихся вечерних курсов, на постройке Косогорского завода, на открытии народной библиотеки, между праздничных балаганов на Девичьем поле, за работой с косой, граблями, пилой и т. д.

Многие из этих фотографий сразу же публиковались в газетах и журналах, так что Толстой едва ли не ежедневно где-нибудь да видел свое изображение. По этому поводу он как-то сказал, шутя: „Я так постоянно вижу себя на фотографиях, что, когда увижу свое лицо в зеркале, мне кажется: а ведь похоже!“

Благодаря всемирной известности Толстого и большому числу фотографировавших его людей, фототолстовиана не имеет себе равных по объему среди изображений других писателей. Кроме того, она охватывает огромный период — с 1848 г. по 1910 г., давая зримое представление и о местах, в которых бывал Толстой, и о людях, среди которых он жил или с которыми встречался, и о его внешнем облике, так менявшемся на протяжении этих 62 лет.

Последний раз Толстой сфотографировался меньше, чем за два месяца до смерти, 25 сентября 1910 г. в Ясной Поляне. Фотография была сделана по случаю годовщины его свадьбы с Софией Андреевной, и перед фотоаппаратом предстали они вдвоем. Вот как рассказывает об этой съемке В. Ф. Булгаков:

„София Андреевна стала просить Льва Николаевича сняться вместе: нужно увековечить день 48-летия свадьбы. Он согласился. Александра Львовна

стала выражать недовольство уступчивостью отца.

— Да что ж, ведь это — одна минута, — возразил Лев Николаевич в ответ на сетования дочери.

Снимать должен был я. На открытом воздухе, против крыльца, под окнами зала. София Андреевна, видимо не желая затруднять Льва Николаевича, торопилась. Она колышками отметила место, где они со Львом Николаевичем должны стать, заранее сосчитала шаги между этим местом и фотографическим аппаратом.

Отправляясь для сниманья вниз, Лев Николаевич посмотрел на меня и улыбнулся. Потом он встал на указанное ему место, заложил руки за пояс. София Андреевна взяла его под руку”.

За 70 лет своего существования эта фотография много раз воспроизводилась в печати — и в России до революции, и в Советском Союзе, и на Западе. Обычно она публиковалась с информационной подписью, реже — с объективно и тактично подобранными цитатами, цель которых была в намеке на сложность отношений между супругами в завершающие жизнь писателя годы.

Едва ли не последняя ее публикация — в нью-йоркской газете „Новое Русское Слово” в 1980 году, где она иллюстрирует прекрасную статью, высоко оценивающую личность Софии Андреевны Толстой.

Как это ни удивительно, но оказалось, что даже сам факт публикации этой фотографии может породить величайшее негодование. Появилась даже обширная статья, автор которой прямо указывает, что „потребность ее написать вызвала эта фотография”, и мечет громы и молнии по поводу того, что коробящий его снимок „продолжает воспроизводиться в книгах, газетах”.

Сколько сил и времени потратил этот автор, чтобы, стараясь выглядеть объективным, заполнить, между тем, два десятка страниц тенденциозно подобранными цитатами и своими пристрастными комментариями! И все для того, чтобы доказать, будто София Андреевна не имела права фотографироваться рядом со Львом Николаевичем, ибо, по мнению автора статьи, 1) София Андреевна не любила мужа в последние годы их жизни, 2) Лев Николаевич не любил жену в последние годы их жизни, 3) София Андреевна имела тьму недостатков и была мучительницей великого писателя.

Неделикатная, несправедливая и к тому же ненужная статья!

Неделикатна она потому, что является холодным обсуждением чужой семейной трагедии при отсутствии всестороннего понимания характера ее участников, их взаимных чувств и духа того времени; обсуждением, которому априори предназначено закончиться обвинительным заключением против того, кто уже не может возразить. Слов, которые при этом использует автор, лучше не повторять: когда я прочитал, например, описание фотографии, мне почудилось, что София Андреевна не „крупный, выдающийся человек в пару Льву Николаевичу” (художник Л. О. Пастернак), не „истинный ангел-хранитель своего мужа” (жена другого гения — А. Г. Достоевская), не женщина, сама воспитавшая восьмерых детей (и столько же похоронившая), а неистовая поклонница какого-нибудь биттлза или знаменитого футболиста, исхитрившаяся женить его на себе.

И разве не такое же перенесение событий тех лет в совсем чуждую им современную атмосферу дает возможность автору статьи представлять последнюю фотографию Толстого как своего рода вещест-

венное доказательство того, что в его семье „нет любящих супругов”? Между тем такое понимание сложившихся в семье Толстых отношений весьма прямолинейно и противоречит многочисленным утверждениям самих супругов — и Льва Николаевича, и Софии Андреевны.

И эти утверждения — отнюдь не случайные, сделанные под влиянием минутного настроения или по требованиям семейной дипломатии — они повторяются в воспоминаниях сыновей и дочерей. Сергей, Татьяна, Илья, Александра прямо и в один голос заявляют, что их „родители всегда, до последнего времени совместной жизни любили друг друга”. То же категорически утверждают внуки Толстых — София Андреевна, Мария Андреевна, Анна Ильинична, Сергей Михайлович, Татьяна Михайловна. (Даже если сами они и не были свидетелями семейной жизни Льва Николаевича и Софии Андреевны, то хорошо ее знали и на основании неопубликованных документов, и на основании семейных рассказов.)

Несправедлива эта статья потому, что, отмечая историческое значение одного из участников трагедии, она безжалостно составляет список лихостей другого, не только умалчивая об обоюдной ответственности, но и включая в этот список и случайные оплошности, и самопризнания болезненно-совестливой души, и даже добродетели, которым придается прямо противоположный смысл.

В этой статье утверждается даже, что в последние годы своей жизни Толстой не писал художественных произведений только из-за жены и что она была первопричиной всех событий, приведших его к преждевременной смерти.

Между тем, даже в уходе Толстого из Ясной Поляны (в чем иной раз по недостаточному знакомству с вопросом обвиняют Софию Андреевну) обви-

нять ее, положи руку на сердце, нельзя: Толстой задолго до ухода начал говорить, что хотел „умереть в одиночестве” и только искал предлог, чтобы уйти. Вспомните дневниковую запись, сделанную им за два дня до ухода: „Грешное желание, чтобы она дала повод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об ее положении — и жаль”...

Ненужная эта статья потому, что о взаимоотношениях Толстого с женой, об его уходе и смерти написаны тысячи статей, а есть даже и специальные книги. Наука о Толстом уже решила все проблемы, связанные с этим кругом вопросов. И решила так, что статьи, подобные той, о которой идет речь, являются анахронизмом, к тому же отнюдь не безвредным анахронизмом!

Достойно сожаления, что уже четвертому поколению Толстых приходится выступать против печальной традиции, начатой Чертковым и его свитой толстовцев: влезать в порыве сектантского или научного рвения туда, куда сами эти люди — коснись такое их собственной жизни — никогда и никого не допустили бы.

Когда пишешь о взаимоотношениях супругов Толстых, очень легко переступить черту, которую переступать недопустимо. Лучше уж к ней не приближаться! Войдя 35 лет назад в среду людей, которые присутствовали при семейной жизни Толстых — родственников, секретарей, знакомых, — я скоро открыл у большинства из них некое чувство антипатии к человеческим качествам у одних — Льва Николаевича, у других — Софии Андреевны.

У них это чувство было произвольным, возникшим при *личных* контактах с супругами. Но эти люди старались свое чувство не проявлять не только в том, что написано пером, но и во время частных бесед: они отдавали себе отчет, что рассказан-

ное воспринимается совсем не так, как наблюдаемое.

Большинство из них симпатизировало Льву Николаевичу (видимо, сказывался пиетет перед гениальностью и славой: к тому же многие из нас, мужчин, предубеждены против жен, которые не всегда с нами соглашались), но и они никогда не забывали, что „жену с мужем некому судить, кроме Бога”. Не забывали они и высокие слова, сказанные о Софии Андреевне столь разными людьми, как Тургенев, Фет, Бунин, Горький, Стасов, Танеев, Репин, Нестеров, Серов и многое множество других.

Помнили они и слова самого Толстого, обращенные к жене перед уходом из Ясной Поляны: „Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю со мною жизнь и за твои заботы обо мне и о детях. Прошу тебя простить меня во всем том, чем был виноват перед тобою”...

Едва ли не все, кто писал о семейном разладе Толстых, видел его первопричину в различии социально-политических взглядов супругов, различии, которое особенно резко проявилось после перелома в мировоззрении Толстого. Ту же причину называли и оба супруга.

По рождению и воспитанию София Андреевна была полуаристократкой и, как правильно отметил ее сын Сергей, именно потому очень ценила подлинный аристократизм. Но взглянем на молодого Толстого и увидим, что он тоже был полуаристократом (внутренне — по своей культуре, по своим пристрастиям, по своим привычкам), хотя имел графский титул и хотя среди его предков были и подлинные аристократы. В молодости (и даже в годы ухаживания за Софией Андреевной) он, как и она, ценил подлинный аристократизм и старался казаться настоящим аристократом. Но ему это было труд-

но, и, приобретя некий эквивалент аристократизма — славу писателя, он освободил себя от тесного и маркого белого жилета и натянул нагольный полушубок.

Сам этот факт, факт перехода Толстого „на позиции патриархального крестьянства”, обязывает литератора в Советском Союзе и одобрять все, что он говорил и делал в связи с этим переходом, и осуждать Софию Андреевну, которая не могла этот переход принять.

Но неужели нам, слишком хорошо знающим, что произошло с Россией через какие-нибудь семь лет после смерти Толстого, следует славословить его ошибки и порочить память той, которая, несмотря на свою любовь к мужу, не пошла за ним, когда он заблудился?!

Вспомним известную запись Софии Андреевны о том, как и почему она прекратила свою самоотверженную помощь мужу по переписке его рукописей — дело, которым она занималась ежедневно в течение 20 лет.

„Злобное отрицание православия и церкви, брань на нее и ее служителей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, все это было невыносимо. Я тогда еще сама переписывала все, что писал и переправлял Лев Николаевич. Но раз, я помню, это было в 1880 г., я писала, писала, и кровь подступила мне в голову и лицо, негодование поднялось в моей душе, я взяла листки и снесла к Льву Николаевичу, объявив ему, что я ему больше переписывать не буду, я слишком сержусь и возмущаюсь...”

Перечитав сейчас эту запись, я, сказать по совести, не могу себе представить человека (каких бы взглядов он ни придерживался), которого бы не восхитила позиция благородной, преданной рели-

гии и всем установлениям жизни, предельно откровенной в своих отношениях с мужем Софии Андреевны и который не попенял бы Льву Николаевичу, так увлеченному своими неистовыми обличениями, что он (великий „знаток диалектики душ!“) не замечал и не понимал, что грубо оскорбляет самые святые чувства жены.

А ведь, к слову сказать, затворенная в кругу домашних забот, эта женщина оказалась прозорливее великого мыслителя! Недаром еще в 1905 г., когда поднялась в России первая кровавая волна, он „революции не понял“, а она явственно ощутила страх перед „народом, под угрозой которого мы живем“...

... Вот какие долгие и невеселые рассуждения может вызвать одна фотография... Но продолжим наш рассказ о других.

Ровесник дагерротипа, Толстой дожил и до его младшей дочери — цветной фотографии. На цветную пленку его снимал профессор-химик С. М. Прокудин-Горский, составлявший по поручению журнала „Вопросы Императорского Русского Технологического общества“ альбом для императора Николая II „По России“.

22—23 мая 1908 г. Прокудин-Горский был в Ясной Поляне и дважды сфотографировал Толстого — под деревом в плетеном кресле и в кабинете. Кроме того он сделал два снимка в деревне, где фотографировал Софию Андреевну и крестьянских детей.

Успел сняться Толстой и на кинопленку. Кино (синематограф) появилось в России в 1907 г., а весной 1908 г. предприимчивый кинооператор и владелец „Первого в России синематографического ателье“ А. И. Дранков уже посетил Ясную Поляну,

чтобы, вернувшись в столицу, показывать среди хроникальных кадров „целых три минуты самого Льва Толстого”.

Этот для наших дней заурядный факт в те годы стал выдающимся событием: публика валила в ателье валом, а газета „Петербургский листок” даже усомнилась в „подлинности некоторых лент”. „По всем вероятностям, — писала газета, — часть их фотографировалась не с Толстого, а с артиста, загримированного Толстым”. По просьбе А. И. Дранкова, Софии Андреевны пришлось публично отвести от него обвинение в подлоге.

Осенью 1908 г. Дранков снова ездил в Ясную Поляну и отснял „целый фильм” (лента имела длину 144 м) под названием „80-летний юбилей графа Л. Н. Толстого”. Хотя фильм вышел на экране уже после юбилея, он имел огромный успех во многих городах России. Впоследствии, вплоть до сентября 1910 г., Дранков не раз посещал Ясную Поляну, чтобы показывать свои фильмы Толстым и снимать Льва Николаевича.

Киносъёмки не требовали специальных и длительных приготовлений, да и сам Дранков, видимо, был симпатичен Толстому: тот всегда встречал его радушно, в то время как некоторые представители других фирм подолгу не получали разрешения на съёмки. Например, французская фирма „Пате”, потеряв терпение в ожидании, послала в Ясную Поляну своих операторов тайком, и летом 1909 г. те были обнаружены со своими аппаратами в кустах около толстовского дома.

Только в сентябре 1909 г., когда братья Пате уже захватили в свои руки почти весь русский кинорынок, их фирма получила разрешение, и ее операторы прибыли в Ясную Поляну официально. Корреспондент журнала „Сине-Фоно”, сопровождавший

их, пишет, что София Андреевна „оказывала всяческую помощь в деле производства снимков”, но что сам Лев Николаевич их работу не облегчал:

„Убеждения графа, великие идеи пророка заветов всеобщей любви и счастья делают несовместимой с ними возможность позирования для синематографа. Тем не менее нам было предложено запечатлеть моменты из повседневной жизни Льва Николаевича.

Первой из предпринятых нами работ были снимки поездки Льва Николаевича на станцию Щекина, откуда он отправился через Москву к В. Г. Черткову. Надо ли говорить, что мы были вовремя на местах. Бегут последние минуты ожидания... Едут... Плавно, почти шагом выкатывает из ворот усадьбы парная коляска с Львом Николаевичем и провожающей его супругой. Вслед за ней тройка с Александрой Львовной и другими сопровождающими...

Мы торопимся. Едва лишь экипажи миновали аппарат, спешим обогнать их на наших лошадях, чтобы иметь возможность снять приезд на станцию. Здесь, на платформе Щекина, мы работаем не менее удачно. Приезд, вход на станцию, прогулка Льва Николаевича по перрону в ожидании поезда, сцены встречи с приехавшими с этим же поездом родственниками и, наконец, последний момент отправления в путь — все это схвачено аппаратом**.

Когда фильм (лента длиной 130 м) был готов, его немедленно повезли в Ясную Поляну, захватив заодно и другие фильмы производства фирмы „Пате”. Сеанс состоялся 24 сентября на открытом воздухе. Экран соорудили на площадке перед домом, установили проекционный аппарат, расставили скамьи и стулья для зрителей.

* Журнал „Сине-Фоно”, 1909, № 1.

Как только стемнело, места начали занимать Лев Николаевич, София Андреевна, прочие обитатели дома, гости, кто-то из приехавших соседей. Собралось также человек двести крестьян. Корреспондент „Сине-Фоно” пишет:

„Великий писатель остался доволен виденным. Он передал нам, что считает разумным и поучительным зрелищем те видовые и научные картины, которые мы демонстрировали в Ясной Поляне (Военно-Грузинская дорога, город Дели в Индии, на табачных плантациях и пр.). Фильм, произведенный с Льва Николаевича, был показан дважды и по окончании сеанса экземпляр его был передан Софии Андреевне”*

В том же году 21—22 апреля в Ясной Поляне гостил писатель Л. Н. Андреев, первым публично предсказавший огромное будущее „великого немого”, как он назвал новое изобретение. Леонид Андреев рассказал о своих впечатлениях от русского и иностранного кинематографа и упомянул о своем совете Дранкову объявить среди писателей конкурс на создание киносценариев. Мысль об участии писателей в формировании вкуса кинозрителей очень понравилась Толстому, он несколько раз возвращался к ней, а утром встретил своего гостя словами:

„Вы знаете, я все время думал о кинематографе. И ночью все просыпался и думал. Я решил написать для кинематографа. Конечно, необходимо, чтобы был чтец, который бы передавал текст. А без текста невозможно”**. Как известно, Толстому не удалось осуществить свое намерение писать для кино: последний год жизни он часто прихварывал,

* Журнал „Сине-Фоно”, 1909, № 1.

** Газета „Утро России”, от 29 апреля 1910 г.

был слаб или увлечен религиозно-нравственными вопросами.

В октябре 1910 г. как только весть о болезни Толстого на станции Астапово разнеслась по России, целая армия фотографов и кинооператоров бросилась к поездам и помчалась в сторону рязанского захолустья, которое вдруг приковало взоры мира. Как писали газеты, „на похоронах Толстого, не переставая, надоедливо трещал синематограф” — работали операторы всех существовавших тогда кинофирм. Ценность дошедшей до нас ленты преувеличить невозможно.

Вот домик начальника станции Ивана Ивановича Озолина, вот окно, за которым лежал больной писатель, вот вагон, в котором жила его семья... София Андреевна выходит из вагона и направляется к домику... Толстой на смертном одре, народ, идущий на последнее прощание. Вот приготовления к выносу тела. Озолин несет крышку гроба. Сам гроб несут сыновья Толстого.

Вот какая-то станция. Толпа народа, но поезд проходит, не остановившись.

Вот станция Козловка-Засека. Поезд останавливается. В лощине, окруженной березовыми рошицами, чернеет толпа народа... Аппарат выхватывает лица известных писателей, студенческие фуражки, крестьянские бороды... Гроб выносят из вагона. Процессия растянулась далеко, утопая в лощине, поднимаясь в гору. Впереди — огромное полотнище яснополянских крестьян с надписью: „Лев Николаевич Толстой. Память о твоём добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны”. За полотнищем — на простых крестьянских возах венки... Вот свежерытая могила. Толпа опускается на колени...

Лента о похоронах Льва Толстого пользовалась

огромным успехом. Только две фирмы („Пате” и Ханжонкова) в течение трех суток продали более 500 ее экземпляров. Корреспондент журнала „Сине-Фоно” пишет:

„Москва первой могла увидеть на экране величайшую человеческую трагедию. Жутко было идти в синематограф: можно было бояться, что разнообразная публика, которая заполняет залы театра, не сможет выделить снимки астаповских событий и похорон Л. Н. Толстого от остальной программы...

Но перед именем покойного учителя смолкли дурные инстинкты людей. Гробовая тишина водворилась в театре, когда аншлаг оповещал о снимке астаповских событий и похорон. Молча снимали шапки. В некоторых театрах по желанию публики показывались картины из жизни великого писателя, а также инсценировки его произведений. Стояли в проходах между стульями”*

Первые в России игровые фильмы были сняты еще при жизни Толстого. Да и идея создания таких фильмов родилась в Ясной Поляне. Произошло это во время киносеанса, который проводил для Толстых А. И. Дранков 6 и 7 января 1910 г. Один из первых русских кинооператоров С. Лурье вспоминает:

„На сеансах присутствовало много крестьян с детьми. Сначала была показана картина, изображающая Льва Николаевича в Москве. Картина произвела на него сильное впечатление. „Ах, — сказал Лев Николаевич, — если бы я мог теперь видеть отца и мать так, как я вижу самого себя!” Эта картина, по желанию Льва Николаевича, была продемонстрирована вторично. Из других картин, продемонстрированных в этот раз, Льву Николаевичу особенно

* Журнал „Сине-Фоно”, 1910, № 4.

понравились ленты: „Трудовая жизнь в Бомбее” и „Зоологический сад в Лондоне”.

Зашел разговор о кино, о его настоящем и будущем, о его значении для школы, для народа. Лев Николаевич говорит о кинематографе как об одном из интереснейших и важнейших изобретений, много и подробно расспрашивает о последних усовершенствованиях в области кинематографии, о лентах, о перспективах промышленности.

„Необходимо, — говорит он, — чтобы кинематограф запечатлевал русскую действительность в самых разнообразных ее проявлениях. Русская жизнь должна при этом воспроизводиться синематографом так, как она есть, не следует гоняться за выдуманными сюжетами”.

Татьяна Львовна указала, что в Тульской губернии до сих пор сохранились старинные русские костюмы и что их следует запечатлеть на ленте. Она предложила Дранкову приехать к ней в имение, где обещала устроить ряд интересных сцен из жизни крестьян.

„Да, да, — вставил Лев Николаевич, — Таня говорит правду, послушайте ее совета; это будет очень интересно, потому что сама жизнь нашего крестьянина очень интересна и поучительна”. При этом Лев Николаевич раскрыл альбом картин художника Орлова „Русские мужики” и, указывая на картины, сказал: „Вы видите, как много здесь работы для фотографа!”*.

Мысль о показе русских костюмов Толстой решил претворить позднее как показ старинного свадебного обряда русского народа. Сценарий написала Татьяна Львовна, она же руководила съемками,

* „Литературное наследство”, изд. АН СССР, № 37—38, Москва, 1939, с. 716.

в которых участвовали крестьяне ее имения. Съёмки проводила фирма Дранкова совместно с итальянской фирмой „Чинес”.

К 1909 г. относится и первое разрешение, данное Толстым на экранизацию его произведений. Разрешение это получила фирма А. Ханжонкова — для драмы „Власть тьмы”*. Фильм вышел большим (длина ленты 365 м), и зрителями был воспринят с интересом. Создатели фильма, исходя из возможностей техники тех лет, разделили его не на пять частей (как это следовало бы по числу действий толстовской пьесы), а на семь. Каждая часть имела свое название: 1) Мать Никиты склоняет Анисью отравить мужа. 2) Анисья отравляет мужа и отдает деньги Никите. 3) Через год. Никита, женившись на Анисье, сошелся с ее падчерицей Акулиной. 4) Анисья принуждает Никиту умертвить ребенка Акулины. 5) Анисья силой выдает Акулину замуж. 6) Никиту мучают угрызения совести. 7) Раскаяние и арест Никиты.

При жизни Толстого вышел на экраны и фильм Я. Протазанова по комедии „Первый винокур”, который шел по провинциальным экранам, в небольших кинотеатрах.

Уже в самом начале появления „живой фотографии” Толстой высоко оценил ее возможности, хотя и выразил тревогу за ее будущее. А. Л. Толстая вспоминает, что как-то, во время своего приезда в Москву, Толстой предложил всей семьей пойти в кинематограф. (Это произошло в его последний московский приезд, 18 сентября 1909 г., а кинема-

* До „Власти тьмы”, в том же 1909 г. фирмой „Пате” во Франции была выпущена экранизация романа „Воскресение”. Хотя в фильме снимались лучшие артисты Парижа, упоминать его можно лишь как классический пример „развесистой клюквы”.

тограф находился на Арбате, где он просуществовал до конца 50-х годов, после чего занимаемое им помещение было взято под ресторан „Прага“.)

„Как на грех, — пишет Александра Львовна, — показывали глупейшую картину. Помню, выходя из кино, отец сказал: 'Какое это могло бы быть могучее средство для школ, изучения географии, жизни народов, но... его опошлят, как и все остальное' ”.

Как видим, Толстому посчастливилось быть спутником всего того длинного пути, который прошел дагерротип до кинематографа.

Китайский угол треугольника

Взаимоотношения всяких государств, а особенно соседних, складываются из четырех элементов:

1) Экономическое сотрудничество — взаимовыгодное или выгодное преимущественно лишь для одной стороны.

2) Непосредственные захваты земель и территориальные притязания или косвенные вмешательства во внутренние дела другой стороны.

3) Политическое соперничество в третьих странах.

4) Культурное и идеологическое влияние, включая взаимопроникновение философских учений и религиозных верований.

До 1917 года в русско-китайских взаимоотношениях доминировали первые два элемента. Причем торговля была выгодна обеим сторонам, а население оспариваемых территорий было инородным и для китайцев, и для русских.

Ленинско-сталинский период отличался беззащитной деятельностью Коминтерна в Китае и активным вмешательством Советского Союза в китайские дела. Под непосредственным руководством советников из СССР были созданы гоминдановская и красная китайские армии. Во второй половине тридцатых годов гоминдановский Китай стал союз-

ником СССР в борьбе против продвижения Японии на севере азиатского материка.

Положение значительно усложнилось после захвата коммунистами власти в Китае и особенно после смерти Сталина. Несмотря на „идейную родственность” режимов, первоначально довольно тесное сотрудничество очень скоро перешло в соперничество, которое, в свою очередь, переросло в открытую вражду, захватившую сферу взаимоотношений с другими социалистическими странами и компартиями, с „Третьим миром” и с капиталистическим Западом. Причем роль идеологических расхождений значительно преувеличивалась в пропагандном шуме взаимных упреков и обвинений. Экономическая помощь со стороны СССР Китаю почти совсем прекратилась; правда, прекратилось и непосредственное вмешательство во внутренние дела. Впервые за несколько столетий возникла реальная возможность крупного военного столкновения между обеими странами.

Дальнейшее развитие советско-китайских отношений зависит главным образом от экономического положения внутри этих стран, от внешней политики Запада, и в первую очередь США, и от политических сдвигов и народных брожений, как в Китае, так и в Советском Союзе.

При анализе положения в современном Китае многие допускают ошибку, которая накладывает печать на все дальнейшие рассуждения: Китай рассматривают не как потенциальную, а как уже существующую сверхдержаву, способную распространять свое влияние во все уголки мира и играть решающую роль в расстановке сил других сверхдержав и конкурирующих торговых, промышленных и военных блоков. Смешивают понятие величины с силой, хотя, казалось бы, примеры, с одной стороны, Ин-

дии, а с другой — Израиля, служат достаточным предостережением от таких смешений.

Несмотря на наличие ядерного вооружения, более детальное рассмотрение экономического положения и военных сил Китая покажет, что за бахвальством фасада, воздвигнутого маоистской пропагандой, скрывается бедная и слабая страна, мало чем отличающаяся от других так называемых развивающихся стран. Причем, помимо социалистической догмы, как раз размеры и население Китая служат главной преградой экономическому прогрессу.

ЭКОНОМИКА

Наиболее трудная задача китайской экономики — накормить миллиардное население Китая, которое, несмотря на все предпринимаемые меры для ограничения рождаемости, к 2000 году грозит достигнуть 1200 миллионов. Рост сельскохозяйственного производства возможен лишь за счет повышения урожаев с уже освоенных земель. Количество новых пашен ограничено. После неудачных попыток освоения целины в западных провинциях Китая правительство вынуждено было вернуть часть земель животноводам-кочевникам. Кроме того, борясь с размыванием почв, китайские власти планируют увеличить площади лесов с 13% до 30%, и какая-то доля пахотной земли уйдет на расширение промышленных и городских районов. А по подсчетам американских специалистов из Мирового Банка, примерно 15% искусственно орошаемых земель постепенно превращаются в солончаки. Те же специалисты считают, что годовой прирост урожая зерновых, при самом интенсивном ведении хозяйства,

может достичь всего 2,3%, а эта цифра лишь немного превышает процент прироста населения.

Для поощрения крестьянского труда Дэн Сяопин и его ставленники увеличили приусадебные участки от 5 до 7, а затем и до 15% обобществленных земель, разрешили торговлю на свободных крестьянских рынках, повысили государственные заготовительные цены на с/х продукты и разукрупнили колхозы. Несмотря на „где засухи, а где наводнения”, все эти мероприятия увенчались некоторыми успехами. Базары украсились живописными пирамидами овощей, белыми горками яиц, живой и битой птицей. Кое-где спрос даже отстал от предложения, и в Сычуане, на берегах реки Янцзы, запестрели плакаты „Ешьте больше свинины”. Увеличились несколько и заработки крестьян, хотя годовой доход на одного сельского жителя все еще не превышает 100 долларов. А ведь в деревнях живет около 80% населения Китая! (Непосредственно в сельском хозяйстве занято 74%*).

Чтобы предотвратить голод, Китай до сих пор вынужден ввозить зерно, мясо и растительное масло. Главные поставщики — Америка, Австралия и дру-

*Вопрос о том, насколько эффективны указанные автором мероприятия нового коммунистического руководства в Китае, остается пока открытым для целого ряда экономистов, в частности и для Н. Еленина, писавшего в „Посеве” № 8 за 1981 г., что в „... Китае была даже сделана попытка „нэповскими” методами повысить продуктивность сельского хозяйства. С этой целью 15% посевных площадей было выделено под приусадебные участки и крестьяне (кто хотел) могли получить в государственных кооперативах скот. Урожай зерновых, однако, после этого сократился с 332 миллионов тонн в 1979 году до 315 миллионов в 1980.

Этот феномен хорошо известен исследователям „развивающихся” стран, где в результате проведения политически популярных аграрных реформ масса мелких крестьян-

гие западные страны, в частности, Канада и Франция. Дальнейший рост уровня жизни крестьян и производства продовольствия зависит прежде всего от того, насколько далеко современные власти Китая рискнут пойти путем „разобобществления сельского хозяйства”. Некоторые надежды руководители китайской экономики возлагают на развитие промышленности, которая тогда сможет вобрать в себя излишки сельского населения. Но до тех пор по китайским дорогам и городам будет продолжать кочевать двадцатипятимиллионная армия безработных.

В Китае бедность распространяется и на городское население. Доля валового национального дохода, приходящаяся на одного человека, равна 256 долларам, что только чуть больше 230 долларов среднего подушного национального дохода в „развивающихся странах”*. Невелик и средний годовой прирост валового национального дохода в пересчете на долю, приходящуюся на одного жителя. Если в странах среднего достатка он достиг 3,7%, а в развивающихся странах 1,6%, то в Китае между 1957 и 1979 годом он равнялся 2, 3%.

собственников перестает обеспечивать городское население. Причины всегда одни и те же: крестьяне, получив землю и со временем несомненно повышая „качество” своей жизни (а это понятие включает и объем свободного времени), как правило, ограничиваются производством в пределах необходимого для жизни минимума. Рыночный же механизм принуждения и отбора жизнеспособных, нацеленных на производство товарной продукции хозяйств либо вообще отсутствует, либо существует в зачаточном состоянии”. — Р е д.

* Как и многие другие, так и данные о доходе на душу населения в коммунистическом Китае часто расходятся, в зависимости от источников. Так, например, по данным Document Expediting Centre Exchange Division (Library of Congress, Washington, В. С. 20540. USA), в 1957 г. на душу населения приходилось 201 ам. долл., а в 1978 — 405.

В отличие от Японии, Тайваня и Сингапура, Китай богат полезными ископаемыми, особенно энергетическими запасами. Однако на пути развития китайской промышленности стоят три главных препятствия:

1) Нехватка капитала для постройки предприятий и приобретения современной техники, а также для создания необходимой вспомогательной сети связи, транспорта и энергоснабжения, что особенно трудно и накладно при большой географической протяженности и разнообразии климатических условий.

2) Нехватка крупных специалистов, рядовых инженеров и просто квалифицированных рабочих, знакомых с современной техникой.

3) Неповоротливость и догматизм социалистического планирования и централизованной бюрократии.

В настоящее время правительство Китая довольно разумно (за что, кстати, заслужило похвалу дирекции Мирового Банка) отказалось от претенциозных планов развития тяжелой промышленности и пустило имеющееся в его распоряжении довольно скромные капиталы и неисчерпаемые резервы дешевой рабочей силы на создание легкой промышленности, способной удовлетворить потребительские нужды своего населения и наладить производство товаров на вывоз в страны с твердой валютой. Допущено также, и даже поощряется, частное предпринимательство в сфере обслуживания и мелкого производства. В результате за последние два года в Пекине возникло 4000 сравнительно процветающих кустарных мастерских, ресторанов, прачечных. А в августе 1981 г. ведущий китайский экономист Цзы Мукьяо сказал: „Мы нуждаемся в смешанной, многогранной экономике, где частному сектору отведе-

но достойное место. Мы также должны подумать о создании частно-социалистических предприятий, в которых акции принадлежат трудящимся”.

Во многих социалистических странах в прошлом частичная либерализация экономики поначалу несла повышение жизненного уровня, но постепенно реформы тонули в трясине централизованной бюрократии и планового хозяйства. Несмотря на смелые слова Цзы Мукьяо, маловероятно, что китайские коммунисты допустят подлинное расширение частного сектора и усиление роли свободного рынка в ценообразовании. Иначе под угрозой окажется их политическая монополия. Пока же они с интересом выслушали серию лекций современного пророка либерализма и последователя Адама Смита — Милтона Фридмана — и предоставили шести тысячам предприятий, производящим 60% национальной продукции и приносящим 70% государственных доходов, право самостоятельно распоряжаться частью прибылей.

В прошлом, в 50-е годы, развитие китайской промышленности базировалось на советской технологии и проводилось с помощью советских кредитов и специалистов. Китайцы очень горды тем, что после „великого исхода” советских специалистов в 1960 году они сумели закончить постройку многих начатых предприятий без помощи советских инженеров и техников и без увезенных последними чертежей. Однако еще в продолжение многих лет они использовали в качестве прототипов советскую промышленную и военную технику. Теперь китайцы хорошо понимают, что подлинная модернизация их промышленности потребует помощи и кредитов со стороны Америки, Японии и Западной Европы.

Во внешней торговле китайцы старались, чтобы ввоз не превышал вывоза, и в 1975/76 гг. экспорт

из Китая даже превысил импорт на 1,2 миллиарда долларов. К концу 1980 года задолженность Китая в твердой валюте достигла всего 3,4 миллиардов долларов, в то время как долги маленькой Польши западным странам превышают 20 миллиардов долларов! Финансовые эксперты Мирового Банка считают, что Китай без большого ущерба может позволить себе повысить эту задолженность к 1990 году до 79 миллиардов долларов.

Ссуды на льготных условиях Китай получает от Мирового Банка и от заинтересованных в расширении взаимной торговли западных государств. Например, в начале сентября с. г. Япония согласилась предоставить Китаю низкопроцентный заем размером в 1,3 миллиарда долларов. Это, правда, половина того, на что первоначально рассчитывали китайцы, но это все же позволит им закончить многие приостановленные стройки нефтехимических и металлургических заводов.

В будущем решающую роль в развитии китайской промышленности сыграет освоение энергетических ресурсов. Китай богат углем и природным газом, крупные местонахождения нефти расположены в глубине страны и в море, у китайских берегов. Нефтяные прииски Южно-Китайского моря геологи относят потенциально к одним из самых богатых в мире. Для освоения этих богатств Китай нуждается не только в западных кредитах, но и в западных специалистах и технике. В получении кредитов для закупки западной технологии Китай конкурирует не только со странами третьего мира, но и с Советским Союзом, который надеется на американскую и японскую помощь в трудном деле освоения залежей угля, нефти и газа в Сибири. В соперничестве за экономическое сотрудничество с Японией на стороне Китая — отсутствие взаимных территориаль-

ных притязаний (если не считать вопроса об острове Нанша), в то время как кремлевские старички все еще упорно цепляются за четыре Курильских острова; на стороне Советского Союза — грозный кулак Дальневосточной армии.

Нефть, уголь и газ могут стать главным источником иностранной валюты, кроме того, быстрое освоение их запасов необходимо для расширения энергетической базы китайской промышленности. Американские нефтяники считают, что при правильной постановке дела к 1990 году добыча нефти в Китае могла бы достичь 400 млн. тонн в год, т. е. сравняться с производством нефти в Саудовской Аравии в 1974 г. Однако пока она едва превышает 100 млн. т в год.

До сих пор в Китае при разработке энергетических запасов упор делался на повышение производства продукции уже существующих объектов, а не на геологическую разведку и не на освоение новых бассейнов. Мало внимания обращали на замену устаревшего и износившегося оборудования. В шахтах — погоня за сиюминутной подачей „на гора” задержала прокладку новых штолен, а установка морских буровых вышек настолько отстала от плана, что серьезных сдвигов в нефтяной промышленности нельзя ожидать до конца восьмидесятых годов. В результате, в 1980 году производство энергии в Китае не только не возросло, но даже упало.

Правда, внутри страны многого можно достичь и без увеличения производства — путем повышения эффективности использования энергии. Дело в том, что искусственно заниженные (по сравнению с существующими на мировом рынке) цены на энергию не поощряют экономию ее на государственных предприятиях, потребляющих 70% всей производи-

мой в Китае энергии. (На Западе главные „растратчики” — частные автомобили, а также отопление и охлаждение домов.) Из-за такой расточительности в Китае, чтобы повысить валовой национальный доход на один процент, потребление энергии приходится повышать на 1,8%, в то время как в других развивающихся странах соответствующее повышение потребления энергии равно 1,2%, а в передовых странах — например, в Японии — менее 1%.

Даже сравнительно беглый обзор китайской экономики, показывает, что трудно ожидать от нее чуда, подобного случившемуся в послевоенных Германии и Японии. Приходится согласиться с уже упомянутым Цзы Мукьяо, который откровенно признался своим западным коллегам, что и к концу нынешнего столетия от 70% до 80% китайцев все еще будут влачить полунищенское существование.

ВОЕННАЯ НЕМОЩЬ КИТАЯ

Плачевное состояние китайской экономики неблагоприятно отражается и на вооруженных силах Китая. Главное преимущество китайской армии в неисчерпаемости людских резервов и в решимости к сопротивлению ее состава, главная слабость — в технической отсталости и в отсутствии ясно продуманной стратегической доктрины.

Китайское Министерство обороны и параллельный ему Научно-технический оборонный комитет подчинены Военному совету при ЦК КПК. Министерство разбито на три главных отдела: Генеральный штаб, Политуправление и Отдел снабжения и перевозок. Трехмиллионная армия (не считая флота и авиации) разделена на регулярные и территори-

альные войска*. В последние входят 70 дивизий и 130 отдельных полков, несущих пограничную и гарнизонную службу и следящих за порядком внутри страны (сродни советским войскам МВД). Вооружены территориальные войска устаревшими винтовками и небольшим количеством автоматического оружия. Немного лучше вооружены примерно 190 дивизий регулярной армии, но и их вооружение значительно уступает вооружению (не говоря уже об огневой мощи, маневренности и т. д.) 43-х советских дивизий, расположенных в Сибирском, Забайкальском и Дальневосточном военных округах. (См. Приложение 1 для более подробного сравнения китайских и советских вооруженных сил.)

В боевой подготовке китайской армии большое внимание уделяется изнурительным переходам и ближнему бою. Престарелые китайские военачальники все еще живут романтикой „Великого похода“, придерживаются суворовского изречения „пуля дура, а штык молодец“ и уверены, что в штыковом бою китайский солдат не имеет равного в мире.

Сильно отстали и китайский военно-морской флот и военно-воздушные силы. Китайские подводные лодки, патрульные катера, боевые самолеты сконструированы по устаревшим советским образцам. Это катера типа „Оса“ и „Комар“, истребители МИГ—17, 19 и 21, бомбардировщики МИГ—15, ИЛ—28, ТУ—1, 2 и 4. Особенно не хватает китайской армии современных тактических ракет земля/земля, земля/воздух и воздух/воздух.

Техническая отсталость китайской армии делает ее малопригодной для ведения наступательной вой-

* См. The Chinese Armed Forces Today. Arms and Armor Press. London, 1979.

ны. Это в свое время было подтверждено в Корее, а в более недавнем прошлом во Вьетнаме. Поэтому доктрина „народной войны” снова заняла почетное место в стратегических планах китайского командования. Надеются на людское море стомиллионной армии резервистов и ополченцев, в котором должны утонуть любые оккупанты, и на вырытые под городами и селами туннели, которые должны послужить не только бомбоубежищами, но и хранилищами зерна и неотравленной воды. Западные наблюдатели, побывавшие в этих туннелях, сомневаются в их пригодности для защиты в случае атомной, бактериологической или химической войны. Перекрытия недостаточно укреплены, вентиляция примитивна и заслоны отсеков недостаточно герметичны.

В основе доктрины „народной войны” лежит уверенность, что противник будет действовать согласно желаниям китайского генерального штаба. В свое время похожие иллюзии привели к жестоким поражениям французских армий в первой и второй мировых войнах. Американские военные специалисты считают, что, вопреки надеждам китайского командования, советская армия не поведет фронтальную атаку на Китай с целью захвата крупных территорий, а ограничится разгромом главных промышленных и военных объектов и, возможно, оккупацией Маньчжурии, которая послужит плацдармом для дальнейших операций против Китая.

Конечно, и для советской армии война с Китаем, даже с ограниченной целепостановкой, — нелегкая задача. Главная трудность — наладить бесперебойное снабжение и подтягивание свежих частей. По американским подсчетам, полумиллионная действующая армия требует ежедневно от 40 до 50 тыс. тонн продовольствия, горючего, боеприпасов.

Правда, наступавшие в 1945 году через Восточную Европу советские войска обходились, пропорционально, половиной этого количества, но они существовали в значительной степени за счет „военных трофеев”, а в нищем Китае особенно поживиться будет нечем. (См. Приложение 2 для более подробного обсуждения проблемы снабжения советской армии на Дальнем Востоке.)

Помимо народной войны, Китай, для отражения угрозы, возлагает надежды на стратегическое ракетное оружие. Новые китайские ракеты, вооруженные термоядерными головками, способны достигнуть любого города в СССР. Но большинство китайских баллистических ракет работает на жидком топливе и для приведения их в полную боевую готовность потребуется 36 часов, в то время как ракеты с твердым топливом могут быть подготовлены к запуску буквально за несколько минут.

Провести модернизацию армии своими силами и сделать ее способной не только к обороне, но и к наступлению Китай не сможет еще долгое время. Этот процесс может ускорить американская военная и промышленная помощь. Отчасти готовность Америки оказать такую помощь будет зависеть от развития взаимоотношений Китая с Тайванем. Китай не только отказался от вооруженного конфликта с „националистами”, но даже надеется на посредничество Америки в мирном разрешении тайванского вопроса, на что намекал иностранным корреспондентам в начале сентября 1981 г. заместитель министра иностранных дел Чжон Цзыдон.

На Западе возражения против оказания военной помощи Китаю будут исходить из двух источников:

1) Сторонники детанта будут говорить об опасности обострения отношений с Советским Союзом,

об угрозе спровоцировать Кремль на превентивную войну.

2) Правые, антикоммунистические, круги будут продолжать относиться с подозрением к коммунистическому Китаю, помня высказывание Вальтера Дуранте по поводу пакта Гитлера со Сталиным: „Нельзя недооценивать способность тоталитарных правительств к непредвиденному”.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КИТАЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМИРЕНИЯ С СССР

Вопреки пророчествам многих западных комментаторов, Китай по-прежнему остается тоталитарным государством социалистического типа. С самого начала так называемой демаоизации китайская пропаганда продолжала твердить о необходимости сохранить твердое централизованное руководство. Не оправдались надежды на терпимость нового правительства Китая к инакомыслящим. В начале года в речи на Политбюро Дэн Сяопин сказал: „Они (диссиденты) выступают против руководящей роли партии и против социализма. Мы не можем легко относиться к подобным высказываниям. Мы никогда не отличались мягкостью по отношению к контрреволюционным элементам и впредь мы будем такими же жесткими. Мы обрушимся на них всей тяжестью диктатуры трудящихся”. А в июле, на заседании партийных пропагандистов, Дэн выступил против тех, „кто не следует партийной линии в искусстве и проповедует буржуазный либерализм”. Дэну вторит и новый председатель, Ху Яобан, который, обращаясь к писателям и художникам, сказал: „Вы не должны ковыряться в отрицательных сторонах жизни в ущерб показу положительных достижений трудящихся масс”.

В свое время Китай поставил своей задачей достичь:

- 1) национальной независимости и безопасности границ;
- 2) статуса сверхдержавы;
- 3) руководящей политической роли в Южной и Юго-Восточной Азии;
- 4) возвращения „несправедливо отторгнутых” земель и воссоединения с Тайванем;
- 5) главенства в мировом коммунистическом движении.

Под влиянием экономических и военных неудач современные вожди Китая временно отказались от некоторых поставленных целей, — в частности, от главенства в Азии и в международном коммунизме. Несмотря на это, члены китайского правительства во время недавних посещений стран Юго-Восточной Азии постоянно подчеркивали неотъемлемое право китайских коммунистов оказывать помощь и моральную поддержку „братским компартиям”. Правда, они тут же добавляли, что это соответствует национальным интересам не только Китая, но и таких стран, как Тайланд и Малайзия, т. к. препятствует установлению тесной связи Вьетнама и Советского Союза с местными коммунистами. Но как бы сложно ни переплетались во внешних делах Китая национальные интересы с коммунистическими, говорить о том, что Китай из тоталитарной, коммунистической страны превратился по сути в национальную, авторитарную — по меньшей мере преждевременно.

После смерти Мао китайская внешняя политика базируется на трех главных принципах:

- 1) главный враг Китая СССР, а не США;
- 2) в ответ на советскую агрессию США, Западная

Европа и Япония должны усилить свой военный потенциал;

3) Китай поддерживает бывшие колониальные и полуколониальные народы в их борьбе за установление нового международного экономического и политического порядка и считает себя естественным лидером третьего мира.

Два первых принципа тесно связаны с советско-китайским конфликтом. Тем не менее, следуя формулировке Вальтера Дуранте, нельзя не считаться с возможностью примирения двух коммунистических диктатур. Китаю примирение открыло бы снова доступ к советской промышленной и военной технике, что имеет свои преимущества, т. к. большинство имеющегося в распоряжении Китая вооружения и военной техники сконструировано по советским образцам. Второй довод в пользу примирения заключается в том, что оно прикроет Советскому Союзу тыл в Сибири и на Дальнем Востоке и развяжет руки для более решительных действий в Европе. Сторонники второго довода, забывают, что США не только атлантическая, но и тихоокеанская держава, и конфликт со странами НАТО для Советского Союза сразу означает войну на два фронта. Что же касается первого довода, то при современном плачевном состоянии советской экономики СССР не сможет взять на себя добавочную обузу крупной военной и хозяйственной помощи Китаю. Кроме того, как уже было отмечено выше, в области технологии, необходимой для развития химической и нефтедобывающей промышленности, Советский Союз сам вынужден обращаться за помощью к Западу. Препятствуют примирению и столкновение советских и китайских интересов в Южной и Юго-Восточной Азии и раскол в между-

народном коммунистическом движении, вызванный в значительной степени Китаем.

Китайские вожди при встречах с западными политиками уверяют последних, что именно Западной Европе грозит в первую очередь советская агрессия и что поэтому США и страны НАТО должны быть бдительными и непрестанно вооружаться. Такое отношение понятно, т. к. Китай больше всего боится финляндизации Европы и ухода разочаровавшихся в европейских союзниках американцев к себе, за океан, в изоляцию. Поэтому не только укрепление военной мощи НАТО, но даже и возникновение вооруженного конфликта в Европе китайские коммунисты будут приветствовать, особенно если в этом конфликте им удастся занять выжидательную позицию.

*

В начале статьи мы говорили о четырех элементах, из которых складываются международные отношения государств. Рассмотрим кратко эти элементы в отдельности для каждой пары треугольника Китай/СССР/США. Экономическое сотрудничество Китая с США выгодно обеим сторонам, если, правда, оно не повлечет за собой инфляцию в Америке. То же самое можно сказать по поводу торговли США с Советским Союзом, в то время как советско-китайское экономическое сотрудничество 50-х годов, а именно о таком пойдет речь в случае примирения, было более выгодно для Китая, чем для СССР. В отношениях США ни с Китаем, ни с Советским Союзом не имеют места территориальные претензии, в то время как Китай не скрывает своих притязаний на присоединенные Россией в XIX веке

земли. На международной политической арене Советский Союз активно соперничает и с Америкой и с Китаем, в то время как китайско-американское соперничество если и не прекратилось, то во всяком случае сильно уменьшилось. Демократическая идеология США враждебна обеим коммунистическим диктатурам, а Китай и Советский Союз, несмотря на взаимную брань, придерживаются очень похожей идеологии. (Более подробно треугольник взаимоотношений рассмотрен, с помощью соответствующей диаграммы, в Приложении 3.)

В ближайшем будущем Китай постарается получить максимальную помощь от Запада, на льготных условиях и без того, чтобы попасть в зависимость от капиталистической экономики. Действия Китая в странах Третьего Мира, за исключением Северной Кореи и Юго-Восточной Азии, будут носить риторический и символический характер, т. к. он не сможет их подкрепить ни военной, ни экономической помощью. Некоторые усилия будут направлены на — если не фактическое, то хотя бы формальное — воссоединение с Тайванем. Внутри страны успех начатых и во многом разумных реформ зависит от того, насколько правительство сумеет освободиться от тенет марксистской догмы. Боясь потерять лицо среди „прогрессивных сил”, китайские вожди вряд ли совсем откажутся от марксизма. Как это ни парадоксально звучит, но подлинный переход Китая с марксистского пути на национальный будет возможен лишь после того, как коммунизм падет в Москве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СООТНОШЕНИЕ СОВЕТСКИХ И КИТАЙСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Китайская регулярная армия состоит из 121 стрелковой дивизии, 12 бронетанковых, 3 воздушно-десантных, 40 артиллерийских, 15 саперных и железнодорожных и 150 отдельных полков, особого назначения. Большинство стрелковых дивизий остались пехотными в буквальном смысле слова. Главный китайский танк Т-59 — упрощенный вариант теперь уже устаревшего советского Т-54, с которого сняты инфракрасный дальномер, моторная горизонтальная наводка и орудийный стабилизатор. Современных тактических ракет в китайской армии мало, и главное противотанковое оружие — это крупнокалиберное (75 мм) безотдачное ружье, действующее лишь на расстоянии до 370 м, в то время как уже в 1973 году, на Синае, танковые бои велись на расстоянии от полутора до двух километров. Кроме того, китайская противотанковая команда нуждается минимум в 25 сек. подготовки, а, например, расположенные в Западной Германии противотанковые подразделения войск НАТО способны открыть огонь в течение 10 сек. Из 43-х советских дивизий, расположенных в военных округах вблизи китайской границы, половина относится к первой категории, то есть они почти на 100% укомплектованы и могут быть приведены в полную боевую готовность за очень короткий срок. Остальные дивизии распределяются примерно поровну между второй и третьей категорией. Дивизии 2-й категории по технике не уступают дивизиям 1-й категории, только они укомплектованы на 50—75%, дивизии же 3-й категории укомплектованы лишь на 30% и вооружены более отсталой техникой. Большинство дивизий 1 и 2-й категории пол-

ностью механизированы и имеют танки, броневики и бронетранспортеры. В бронетанковые дивизии входит 315 танков типа Т—54, 62 и 72. Советская артиллерия также полностью механизирована и орудия с тягачами сейчас заменяют самоходными пушками. Кроме того, советские сухопутные войска располагают большим количеством противотанковых, противопехотных и противовоздушных ракет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРОБЛЕМЫ СНАБЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ НА ДАЛЬНОМ ВОСТОКЕ

Пропускная способность Сибирской ж.-д. в настоящее время 30 пар поездов, доставляющих 12000 т грузов в день. Даже при удвоении пропускной способности она окажется недостаточной для снабжения полумиллионной армии. Частично проблему снабжения можно решить за счет создания складов и хранилищ на Дальнем Востоке. Но на складах продовольствие портится, стоящая без употребления техника ржавеет. Другая возможность — снабжение по морю или по воздуху. Снабжение по морю, возможное лишь при нейтралитете других европейских, африканских и азиатских стран, потребует по меньшей мере 400 торговых кораблей, из которых 10% будут постоянно разгружаться в портах Дальнего Востока. Само же морское путешествие, при средней скорости 11 узлов, занимает из Балтики или Мурманска, вокруг Мыса Доброй Надежды, 50 дней, а из Черного моря, через Суэцкий канал, один месяц. Снабжение по воздуху требует большого количества транспортных самолетов и бензина. Во время войны 1973 года американцы перебросили в Израиль 22395 т за 566

круговых рейса, а Советский Союз в арабские страны за 934 круговых рейса — всего 15000 т.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТРЕУГОЛЬНИК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

В приложенной диаграмме пунктиром обозначены невыгодные для данной стороны или враждебные отношения, сплошная линия обозначает выгоду или отсутствие споров.

Э — экономические взаимоотношения

Т — территориальные притязания и вмешательства во внутренние дела.

П — политическое соперничество в третьих странах.

И — культурное и идеологическое влияние.

Американская сторона линий экономического сотрудничества раздвоена, так как если предоставление кредитов коммунистическим странам повлечет за собой инфляцию в США, то, с точки зрения монетаристов, это нежелательно, но для сторонников Кейнса вполне допустимо, если это послужит уменьшению безработицы в Америке.

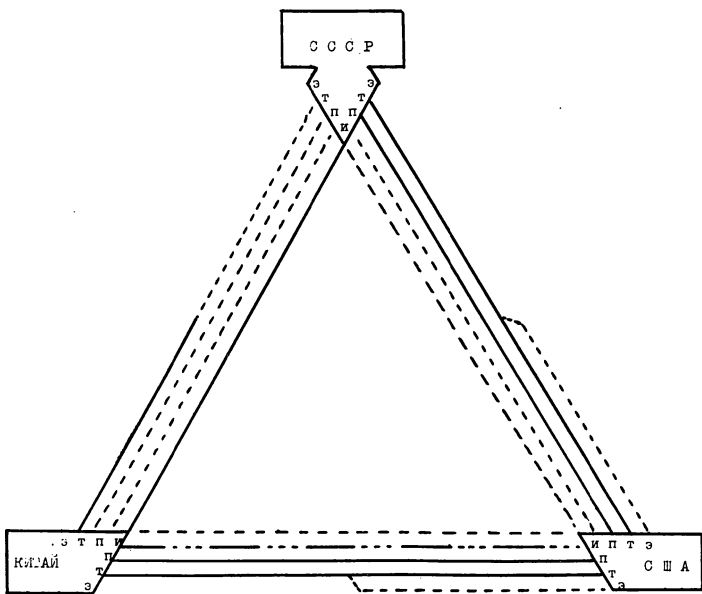


Фото-биография Марины Цветаевой

К великому удовлетворению тех, кто еще при жизни Марины Цветаевой (покончившей самоубийством в 1941 году в Елабуге) высоко ставили необычайную ее Музу, сейчас происходит подъем интереса к ее поэзии и к ее личности. В Нью-Йорке объявлен выпуск пяти томов ее „Стихотворений и поэм” и уже появился первый — „Стихотворения. 1908 — 1916”: многим „цветаевцам” стихи этого периода на самом деле плохо известны.

Детальную оценку всего переиздания текстов надлежит отсрочить. Но сегодня необходимо сосредоточить внимание на неожиданной и подлинной новинке в „цветаевиане”: „Ф о т о — Б и о г р а ф и и Марины Цветаевой” появившейся в томе с параллельными текстами по-русски и по-английски и с более чем 160 изображениями (не считая воспроизведений автографов) как самого поэта — с ее младенчества до 1940 года, — так и ее бытового и литературного окружения, кончая несколькими „фотодокументами” на тему о ее гибели в Елабуге.

По объяснению редактора „Фото-биографии”, Эллендеи Проффер, „основная часть материалов,

М. Цветаева. Фото-биография. Редактор: Эллендеа Проффер. Переводы: Дж. Марин Кинг. Вступление: Карл Проффер. С материалов, собранных М. Б. и И. К. Tsvetaeva, A Pictorial Biography. Edited by Ellendea Proffer, Translations by J. Marin King, Introduction by Carl R. Proffer. From materials collected by M. B. and I. K. Ardis, Ann Arbor, Michigan, U. S. A. 1980.

составившая эту книгу, была собрана поклонниками творчества Цветаевой, живущими в Советском Союзе”, эти фотографии при издании тома не ретушировались „ради сохранения аутентичности”; „В портретах самой Цветаевой особенно старались сохранить детали лица...”; „кое-где в тексты и подписи, представленные составителями, внесены незначительные изменения, исправления и добавления”. Оговаривая „неизбежные просчеты” при издании таких материалов, из которых „три четверти появляются в печати впервые”, редактор выражает надежду, что „любители русской поэзии получают замечательный подарок” и что составители в СССР тоже „будут довольны книгой”, несмотря на долгий срок между сбором материалов и осуществлением этого издания.

Нет сомнения, книга привлекает внимание, весьма содержательна и вызывает немалое количество размышлений, из них основное — о неисповедимости судеб России и ее поэтов. Книга наглядно показывает русскую укорененность Цветаевой, об этом стоит напомнить как об основе ее развития, из-за ее поэтической всеобъемлемости, из-за ее стремления перешагнуть этнические или языковые ограничения в тематике, из-за ее тяготения к универсальности, к всечеловечности (герои ее не только „кровные”, „белые лебеди”, Блок, Пастернак, но и Рильке, и средневековый европейский Крысолов и „пражский рыцарь”, „стерегущий реку”; Чехия, у которой „двадцать лет свободы. Триста лет неволи...”, и так далее). „Фото—биография” вдруг возвращает Марине Цветаевой то, о чем склонны иногда забывать некоторые энтузиасты ее творчества, рамку русского быта, в который судьба ее ввергла, несмотря на ее отчетливое понимание: „... там (в России) я невозможна...”

Лично меня эта книга, кроме всего прочего, поразила демонстрацией непрерывного и неумолимого изменения человеческого „образа-подобия”, лица, всей внешности. Конечно, все это закономерно. Чем удивляться? Тем не менее, читатель инстинктивно ищет среди потока фотографий такое изображение поэта, которое он будет считать „своим”, отражающим „истинную суть” Марины Цветаевой. Возможностей выбора немало. Пожалуй, наиболее убедительный портрет тот, который взят для обложки издания. По-видимому, снимок относится к периоду 1918—19 годов. Очень удачный выбор. Цветаевой 26—27 лет: время „созревания” ее поэзии, — эпоха „Лебединого Стана” (недавно блестяще переведенного на английский Робинот Кембаллом: Marina Tsvetaeva, "The Demesne of the Swans" translated by R. Kemball. Ardis, Ann Arbor, 1980). Этот снимок, как мне представляется передает многие черты ее „поэтической личности”, — и прежде всего ту смелую волевою устремленность, которая столь выделяет Цветаеву из сонма иных поэтов, ее современников.

Кстати, именно эта тема современников в разделе книги — „Литературное окружение” — требовала бы, с моей точки зрения, редакторских дополнений, ибо ясно, что составители книги в СССР не могли найти некоторых снимков из литературного мира Цветаевой. Вероятно, стоило бы поместить портрет князя С. А. Волконского, сочинениями которого она одно время увлекалась и в Москве и за границей. А также было бы необходимо увидеть фотографию другого князя — Д. С. Святополка-Мирского, который, несмотря на его первоначальные резкости из-за „московской распушенности” поэтики Цветаевой, был подлинным литературным союзником нашего поэта, понимавшим ее своеобразие. На-

до было бы непременно найти фотографию Анны Антоновны Тесковой, чешского друга, благожелательного, умного, который явочным порядком оказывался подчас „психологическим громоотводом” для Марины Ивановны, — ее романтическое отношение к Чехии в какой-то мере отзвук этой дружбы, столь существенной для Цветаевой. Было бы правильно увидеть здесь лицо Н. А. Еленева, художественного критика и прозаика: и он и его жена поддерживали приятельские отношения с Эфронами и в Москве и в Праге, — Еленев напечатал о них воспоминания („Кем была Марина Цветаева” — „Г р а н и № 39, 1958).

Абсолютно необходимо помещение портрета Марка Львовича Слонима, литературного редактора пражского эсеровского журнала „Воля России”. Слоним, вопреки частым сомнениям „поэтических староверов”, печатал Цветаеву все время, пока существовал ежемесечник, и в критике своей ставил ее очень высоко, показав себя „цветаецем” в полной мере (см. его блестящие, показавшие всестороннюю осведомленность воспоминания „О Марине Цветаевой” — „Новый Журнал”, кн. 100, 1970 г. и кн. 104, 1971, Нью-Йорк). Мне кажется, что также третий князь — Дмитрий Алексеевич Шаховской, тогда молодой редактор брюссельского журнала „Благонамеренный”, где Цветаева приняла участие (см. некоторые письма Цветаевой и воспоминания о ней в „Биографии юности” архиепископа Иоанна Шаховского), — имеет право на место в этом разделе. Не уверен, что названными лицами исчерпана тема „литературного окружения”. Цветаева входила в редколлегию пражского альманаха „Ковчег” (кажется, даже она предложила это название). Она была членом Союза русских писателей и журналистов... Иначе говоря, у нее, во всяком случае в Пра-

ге, были многочисленные соприкосновения с „собратьями по перу”... Есть и еще одна группа лиц, может быть, тоже заслуживающая хотя бы „маленьких фотографий” в книге: ее эпистолярные друзья, которые, как мне представляется, должны тоже быть отмечены в „Фото—биографии”. Среди этой группы есть видные писатели и литераторы, как, например, Роман Гуль, Александр Бахрах, Юрий Иваск... Я лично включил бы также „портретик” поэта из пражского „Скита”, Алексея Эйснера, одного из самых воодушевленных „цветаевцев” и в те времена и в нынешней Москве, отличного истолкователя ее поэзии и потрясающего чтеца наизусть ее произведений. Цветаева заметила его в Париже и отметила в одном из своих писем Тесковой. Мне хотелось бы увидеть здесь и отрицателя Цветаевой, черного гения снобирующей критики, Георгия Адамовича: „упрямое отрицание есть форма скрытого признания”, — в таком парадоксе „брызжет истина”.

Без указанных дополнений (а их можно было бы умножить) фото—биография кажется упрощенной и стилизованной: мол, „злая эмиграция” злостно не замечала Цветаеву („Здесь я не нужна...”) ... На самом деле отношение к ее поэзии было всегда разнообразным. В пражском „Ските” несомненен „культ Цветаевой”, также и в пражских евразийских кругах. По-видимому, бытовые трудности в Париже оказались значительно более сложными, чем в Чехии. А заострение семейного „цветаевского кризиса” совпало с громадным политическим напряжением в Европе: начало гитлеровской агрессии, гражданская война в Испании, выход из игры в марте 1939 года Чехословакии. Все это просто заглушало и заслоняло от других трагическое подчинение Марины Цветаевой судьбе ее семьи, обреченно

втянутой в органически чуждую им всем страшную игру.

Карл Проффер — автор краткого биографического очерка; жизнь Цветаевой показана им с симпатией и пониманием, но не без схематичности, вполне, впрочем, неизбежной при столь сжатом изложении.

Переводы Дж. Марин Кинг, по-моему, удачны. Но можно ли в подзаголовках книги сказать: „С материалов...”? Правильнее: „По материалам...”

Николай Андреев

Кембридж, Великобритания

ПАМЯТИ Н. Е. АНДРЕЕВА

25 февраля 1982 года в Кембридже (Англия), после непродолжительной, но тяжелой болезни, скончался доктор исторических наук, лектор Кембриджского университета Николай Ефремович Андреев.

Родился Николай Ефремович в Петербурге 13 марта 1908 г., окончил русскую гимназию в Таллине в 1927 г., а степень доктора получил в 1933 г., в Карловом университете в Праге за диссертацию о деле дьяка Висковатого.

Жизненный путь Н. Е. Андреева — это путь русского — и сохранившего верность России — ученого-историка за рубежом. До конца второй мировой войны он остается сначала стипендиатом, затем библиотекарем, а затем и ученым секретарем Кондаковского института в Праге, где с успехом занимается изучением иконописания как выражения мирозерцания Московской Руси XV—XVII веков.

В 1945 г. его арестовывают советские органы государственной безопасности, но, как иностранному подданному, ему в конце концов удается вырваться на Запад. Вскоре он получает место лектора по русскому языку, литературе и истории в Кембриджском университете, где и остается — с выездами для чтения лекций и в других английских университетах — до выхода на пенсию, продолжая одновременно исследовательскую работу, в результате которой к „Ивану Грозному и иконописи XVI века” (1938) прибавились „Никон и Аввакум об иконописи” (1961) и „Литература и иконопись” (1967).

Изучение иконописания не мешает, однако, Н. Е. Андрееву заниматься и другой тематикой (отметим, например, его замечательный анализ Переяславского договора и письма инока Филофея), а зачастую и злободневной публицистикой. Его статьи печатаются, если не во всех, то почти во всех изданиях русского зарубежья, в „Новом журнале”, в „Возрождении”, в „Русской мысли”. В „Гранях” особенно памятны его очерк „Литература в изгнании (№ 33)”, „Ересь Замятина”, „А. М. Ремизов”, „В. А. Маклаков”...

Веселый и общительный, Н. Е. Андреев был исключительно интересным собеседником. Свои творческие замыслы он не таил, а словно бы рассыпал их вокруг себя и радовался, если кто-нибудь их подхватывал.оборот „он украл у меня идею” был ему абсолютно чужд и совершенно непонятен. От него можно было только услышать: „Что? Тебе понравилось? Ты схватил мысль? Так напиши, развей, я тебе укажу литературу по вопросу”. Написать сам он иногда ленился.

Членом НТС Н. Е. Андреев никогда не был, но относился к нашему Союзу, как он говорил, „неизменно положительно”, стараясь помочь, где счи-

тал для себя возможным. Он разбирался в политике и и нередко касался ее в своих публицистических статьях. Но он был прежде всего ученым и учителем русской истории, и самой своей личностью представлял русскую культурную традицию в одном из стариннейших университетов Англии.

На склоне лет я был у Николая Ефремовича только однажды в его доме в Кембридже. Но в студенческие годы перед войной, да еще и в начале войны с наслаждением наезжал к нему в Прагу, видя в нем старшего товарища, а порой и молодого наставника не только перед прекрасным собранием икон Кондаковского института, но и в среде тогдашней НТСовской молодежи, среди которой он пользовался популярностью. Мы тогда читали стихи и просиживали иную ночь до рассвета в кабачках золотой Праги, говоря о России...

Мир праху твоему, старый друг!

Роман Редлих

СО Д Е Р Ж А Н И Е

с № 119 по № 122

ПРОЗА

- АНТОНОВИЧ Александр**
Повесть об Иване Сергеевиче и Прасковье
Никифоровне, супругах Коромысловых, 122
- БОРОДИН Леонид**
Третья правда. Повесть, 119
- ВЛАДИМОВ Георгий**
Шестой солдат. Комедия в двух действиях, 121
- РОХЛИН Борис**
Танька. Рассказ, 120
- ТИМОФЕЕВ Лев**
Ловушка. Роман в четырех письмах, 122
- ЦВЕТКОВ Евгений**
Убейте пророка. Рассказ, 122
- ШЕНФЕЛЬД Игнатий**
Вынужденная посадка. Рассказ, 122

ПОЭЗИЯ

- БАСОВА Ирина**
Пять стихотворений: Наполнить дыханием
мысль и др., 121
- ВЛАДИМИРОВА Лия**
Восемь стихотворений: На Масличной горе и др.,
122
- ДОМБРОВСКИЙ Юрий**
Три стихотворения: Медлительный еврей с пе-
чальными глазами и др., 122
- ДРУСКИН Лев**
Четыре стихотворения: Памяти Мандельштама
и др., 122
- ЕЛАГИН Иван**
Четыре стихотворения: У мольберта и др., 122
- КОРЖАВИН Наум**
Сплетения. Поэма, 119

ОЧЕРЕТЯНСКИЙ А.

Четыре стихотворения: Паутину непрекращающихся дней и др., 121

САПГИР Кира

Шесть стихотворений: Рогатый месяц март и др. 119 ,

СОСНОРА Виктор

Семеро. Поэма, 120

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

ИОФЕ Юрий

Берлин 1980. Поэтоочерк № 7, апокалипсический, 119

ТИМОФЕЕВ Лев

Технология черного рынка, или крестьянское искусство голодать, 120

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЕВ Николай

О русской зарубежной поэзии, 119

ГОРИЧЕВА Татьяна

„Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги...”, 120

ДМИТРИЕВ В.

Идеология и формализм. К вопросу об идеализме Ф. М. Достоевского, 121

ДРЫЖАКОВА Е.

Мечтательство и терроризм. Путь Ф. М. Достоевского в тайную семерку, 121

ИОФЕ Юрий

С позиции идиота. Об одном поэте эпохи Вырождения, 122

ОПУЛЬСКИЙ Альберт

Александр Галич, 119

ОПУЛЬСКИЙ Альберт

Проблема художественности русских житий и ее изучение, 120

ШЕНФЕЛЬД И.

Юрий Трифонов — писатель частичной правды, 121

ИСКУССТВО

ОРЛОВА Александра, ШНЕЕРСОН Мария
Вопреки „установкам” и схемам. К столетию со дня
смерти М. П. Мусоргского, 119

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ.

ОГУРЦОВ Игорь
Игорь Огурцов, по его письмам к родным, 120

ШНЕЕРСОН М.
„Он человеком был...” Памяти профессора
Г. А. Гуковского, 122

ПАСТЕРНАК Борис
Письмо Б. Пастернака, 122

ШУЛЬГИН В. В.
Из книги „Годы”, 119

БРЕЙТБАРТ Е.
Книга и рукопись, (Последняя книга В.В. Шуль-
гина) 119

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) игум.
Идеал совершенства и прагматика совершен-
ствования. П. И. Новгородцев, 121

ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ), игум.
Идея воссоздания Святой Руси, 119

НАЗАРОВ М.
О польских событиях, 121

РЫСКИН Григорий
Педагогическая комедия. Записки советского
учителя, 122

ТРОСТНИКОВ В. Н.
Размышления в Афинееве, 122

ШТУРМАН Д.
В поисках упорядоченности, 120

РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Биография В. Я. Горачека, 121

ГОРАЧЕК В.

К пятидесятилетию журнала „Грани”, 121

КОРЖАВИН Н.

Эмиграция — не партия, 121

ТАРАСОВА Н.

Владимир Яромирович Горачек, 121

ШАТУНОВСКАЯ Н.

Письмо в редакцию журнала „Грани”, 121

БИБЛИОГРАФИЯ

Гаккель О. С.

Мать Мария (1891—1945). — Paris: YMCA-Press, 1980. (Игорь Бурихин), 120, с. 263

Поповский Марк

Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. — Paris: YMCA-Press, 1979. (Игорь Бурихин), 120, с. 266

Тростников В. Н.

Мысли перед рассветом. — Paris: YMCA-Press, 1980. (Игорь Бурихин), 120, с. 269

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН АВТОРОВ

- | | |
|--|----------------------------|
| Андреев Николай, 119 | Назаров М., 121 |
| Антонович Александр, 122 | Огурцов Игорь, 120 |
| Басова Ирина, 121 | Опульский, 119, 120 |
| Бородин Леонид, 119 | Орлова Александра, 119 |
| Брейтбарт Е., 119 | Очертянский А., 121 |
| Бурихин Игорь, 120 | Пастернак Борис, 122 |
| Владимирова Лия, 122 | Рохлин Борис, 120 |
| Владимов Георгий, 121 | Рыскин Григорий, 122 |
| Геннадий (Эйкалович),
игум., 119, 121 | Сапгир Кира, 119 |
| Горачек В., 121 | Соснора Виктор, 120 |
| Горичева Татьяна, 120 | Тарасова Н., 121 |
| Дмитриев В. 121 | Тимофеев Лев, 120, 122 |
| Домбровский Юрий, 122 | Тростников В. Н., 122 |
| Друскин Лев, 122 | Цветков Е., 122 |
| Дрыжакова Елена, 121 | Шатуновская Н., 121 |
| Елагин Иван, 122 | Шенфельд Игнатий, 121, 122 |
| Иофе Юрий, 119, 122 | Шнеерсон Мария, 119, 122 |
| Коржавин Наум, 119, 121 | Штурман Д., 120 |
| | Шульгин В.В., 119 |

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тематический указатель охватывает только те материалы, которые посвящены творчеству, мировоззрению или жизнеописанию людей.

- | | |
|--|------------------------------------|
| Галич Александр, 119, с. 264 | Мусоргский М. П., 119, с. 277 |
| Глазков Н. И., 122, с. 155 | Новгородцев П. И., 121, с. 212 |
| Горачек В.Я., 121, с. I | Огурцов Игорь. 120, с. 161 |
| Гуковский Г. А., проф.,
122, с. 135 | Сухомлинский В. А., 122,
с. 247 |
| Достоевский Ф. М., 121
сс. 119-211 | Трифонов Юрий, 121, с. 112 |
| Карташев А. В., 119, с. 309 | Шварц Елена, 120, с. 198 |
| Макаренко А.С., 122, с. 237 | Шульгин В.В., 119, с. 209 |

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandaurov c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»:

- Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
- Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68

Редакция

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 48 н. м.
через магазины — 60 н. м.

Выходит с 1946 года 4 раза в год (288 стр.)
Цена в розничной продаже: 15 нм
Годовая подписка непосредственно в издательстве:
48 нм
Через магазины: 60 нм

ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Выходит за рубежом с 1945 года (64 стр.)
Цена в розничной продаже: 7 нм
Годовая подписка непосредственно в издательстве:
72 нм
Через магазины: 84 нм

Доплата за воздушную доставку:

«Посев» зона I — 20 н. м.;
зона II — 30 н. м.
I зона — Северная Америка и Ближний Восток
II зона — Южная Америка и Дальний Восток
СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
«ГРАНИ» — 15 н. м., «ПОСЕВ» — 7 н. м.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG
D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на
Konto 2 412 755 00, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.